

ФН

**Дружба
народов**

5/2023



В номере:

Маленькая повесть о маленькой маме

«Та жизнь, когда мама жила до меня, — это уже моя жизнь, — признаётся, начиная документальное повествование «Девочка из последнего эшелона» — Дмитрий ШЕВАРОВ. «Бумаги во время войны не хватало даже для школьных занятий и писем, поэтому все мамины детские рисунки — на обратной стороне разных родительских бумаг. Карточки от титров. Фрагменты чертежей. Бланки “Военно-телефрафной станции штаба СибВо”... Получается, что все рисунки — на обратной стороне взрослой жизни... Мальчик бы непременно рисовал танки и самолёты, взрывы и пожары, а в королевстве маленькой девочки — вечный мир. ...Как-то я показал эти рисунки своей внучке. Заворожённая их праздничностью, пятилетняя Лиза спросила: “А что здесь нарисовано?.. День Победы?..”»

«Когда в мир спускается темнота...»

Ласковый месяц май — это не только весна и сирень, но и День Победы, и память о войне. Именно об этом стихи Яна БРУШТЕЙНА «Ленинградские ветры» — страшные ветры, которые как «осколки огня.../ Из беды они вышли, из маминой боли,/ Из блокадной печали, из вечной юдولي,/ И навылет пробили меня». «Не на время такая разлука, / не на пару минуток./ Дом без ласточки — лютая мука,/ дым отечества — жуток...» Пронзительные стихи Ильи ФАЛИКОВА «Прощание» посвящены ушедшей недавно жене — Наталье Аришиной, нашему автору и другу журнала. Полная драматизма лирика Сергея ПОПОВА — о «невосполнимом перечне потерь» и о вере, что «воскреснут все». Об этой же вере говорит Игорь КАСЬКО: «Мы верим в то, что склынут времена/ неверия в добро, любовь и верность».

«Посвящаю искореженной зеркалом моей семье...»

Пожелтевшие листы школьного тёмно-синего блокнота из последней детской зимы. «К нему как-то неловко прикасаться», — оговаривает Елена ГРЭГ, объясняя себе и нам появление «Деточки» — антиповести не про анорексию.— эпиграфом для которой выбраны строки из ахматовского «Реквиема». «...Не прокрасться в комнату пыли из общего коридора — запертая дверь защищает надежно. Не отлушить и свирепомурыку свернутого соседом крана в ванной — подогнув подросшие ноги, вымоемся в маленькой, детской... Заткнуть уши, не слышать маминого плача, забыть клокотание храта из комнаты возле склада: со счастливого воскресенья спит папа, не уехал по служебным делам — я знаю». Обрывки воспоминаний, случайные фразы, размытые лица... Выловить из времени — и попытаться вместить в аккуратные страницы на компьютерном мониторе.

«Тонкости скрытой истины»

«Я никак не мог начать эту работу из-за необъятности слов, сокровенных мыслей чужих и недоступности смыслов и таинства шайхов святых. И только... когда уже двадцать лет миновало с тех самых пор, когда я впервые задумал книгу ту перевести, я подвигнул своё перо на этот грандиозный труд», — признавался великий тюркский поэт Алишер НАВОИ. В общей сложности «Дуновения любви из цветников благородства» вбирают в себя жизнеописания 770 суфиев, охватывая семь веков истории ислама. В рубрике «Культурный слой» — несколько фрагментов этого огромного труда.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.ком>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брата в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2023.
Подписано в печать 27.04.2023.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ
Леонид БАХНОВ
Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА
Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА
Галина КЛИМОВА
Владимир МЕДВЕДЕВ
Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария АНУФРИЕВА
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН

Денис ГУЦКО
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Валерия ПУСТОВАЯ

Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Александр ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Илья ФАЛИКОВ. Прощание. Стихи	3
Владимир ЛИДСКИЙ. Лиза-Малина и человек-мотоцикл. Рассказ	9
Елена ГРЭГ. Деточка. Антиповесть не про анорексию	18
Сергей ПОПОВ. Прежний чертёж. Стихи.....	67
Вика БЕЛЯЕВА. Нино. Рассказ	71
Игорь МАЛЫШЕВ. Свет в конце. Рассказы.....	78
Валерия КРУТОВА. Одноразовый петух. Рассказы	91
Иgorь КАСЬКО. Эра нелюбови. Стихи	96
Маргарита ГЕРТМАН. Длинный список моих огорчений. Повесть	99
Анастасия АТАЯН. Внезапно и необратимо. Рассказы.....	127
Александр ГАЛЬПЕР. Три рассказа	149
Ян БРУШТЕЙН. Ленинградские ветры. Стихи	157

ПРОЗА. ДОС

Дмитрий ШЕВАРОВ. Девочка из последнего эшелона.	
Маленькая повесть о маленькой маме	160

СТРОКИ ИЗ ПРОШЛОГО

Мария БУШУЕВА. «Различать север по звёздам»	180
---	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Алишер НАВОИ. Дуновение любви из цветников благородства.	
Жизнеописание великих суфиев Востока. Фрагменты.	
С староузбекского. Перевод Сабита Мадалиева	189

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Рохинтон МИСТРИ. Такое долгое путешествие. Фрагменты романа.	
С английского. Перевод Ирины Дорониной	202

НАЦИЯ И МИР

София КАРАНДЖИА. Сахар в молоке	248
---------------------------------------	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Ольга ГЕРТМАН. Братом быть и музыки, и огня (С.Пагын. «Спасительный каштан»)	254
Григорий КРУЖКОВ. Поэзия — она и с изнанки поэзия (Н.Аришина. «Немилосердные лета»)	258
Николай АЛЕКСАНДРОВ. Набоков, Пушкин, Лермонтов... или Прямой наследник (В.Набоков. «Поэмы 1918—1947. Жалобная песнь Супермена»)	261

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Ещё одна попытка бессмертия (Е.Калашникова. «Голоса других»)	264
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Лучше вы к нам	268
------------------------------------	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Парсы в Индии. Фото Софии Карапанджиа	
---------------------------------------	--

SUMMARY	272
© «Дружба народов», 2023	

Илья Фаликов

Прощание

* * *

Всё остаётся как при тебе.
Дело всё в ослике и арбе.

Южное детство. Стоит гора.
Спи, моя девочка. Спать пора.

В пламенном небе поёт труба —
гипсовый мальчик, его тропа.

В огненном небе грохочет гром —
Каспий хохочет. Опять погром.

Гипсовый мальчик, заняв арбу,
осликом правит, истлев в гробу.

Но неприступно стоит скала
в море кизила — Нарын-Кала.

А на подлодке в один конец
северным морем ушёл отец.

* * *

Это эхо бездонной беды,
это я выхожу из купели,
из родильной рубахи,
это я выхожу из воды,
где меня утопить не успели
первобытные страхи.

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. Автор десяти книг лирики, четырёх романов, двух сборников эссеистики и книг о Марине Цветаевой, Борисе Слуцком, Евгении Евтушенко и Борисе Рыжем в серии «Жизнь замечательных людей» (их журнальные варианты были опубликованы в «ДН»). Лауреат нескольких литературных премий, в т.ч. премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Это эхо бездонной беды,
это я выхожу из воды,
острова называя,
в каждом ухе по эху неся,
а за морем находится вся
тишина неживая.

Эти трубы, труба на трубе,
купол неба насквозь протрубыли,
и, себя не новей,
я хочу похвалиться тебе,
как меня за тебя полюбили
после смерти твоей.
В каждом ухе по эху неся,
острова называя,
а за морем находится вся
тишина неживая.

* * *

В войну родилась и в войну умерла.
Я выхлестал жизнь твою всю из горла.
Пройду до конца в отбелённом рванье,
но белое гаснет на белом,
и мы с тобой станем, как встарь, наравне,
на уровне в общем и целом.

Я выбросил в море бутыль без вина.
Её подымает большая волна.
В другом диалоге из фильмы другой
сыграет реальность другая:
— Ни жарко ни холодно, мой дорогой.
— Не жалко, моя дорогая.

Должны сохраниться в наружном огне
твои письмена на бутылочном дне.
Бесстрашно живое одно существо
идёт на армаду стальную,
но вычет одной половины его
влечёт за собой остальную.

* * *

Я говорил, и всё осталось в воздухе —
те ласточки, их крылышки и хвостики.
Но ты ушла, не кончив дня,
и недослушала меня.

Небесная алмазная Якутия.
А говорил с тобой одной по сути я.
Но слёзный плач не каждый раз
преображается в алмаз.

* * *

Врач, целующий мои руки,
перепутал меня с тобой,
на завалах моей разрухи
сообщая, что я святой.
Не ослепшие от печали
современники на бегу,
проводя тебя встречали
из поездки твоей в тайгу.

Это было страной оленя
с леопардами на шоссе.
Цвет всеобщего исцеленья
ты искала в живой росе.
А пока ты его искала,
краснокнижный ощерил зверь
желтизну своего оскала,
и сказалась она теперь.

Дочь и правнучка эскулапа,
ты скучала о старых львах,
но не львиная это лапа
у покойницы в головах.
Не текла у тебя за гробом
человеческая река.
Это ласточка над сугробом —
человеческая рука.

* * *

Остаётся — за что? Назревает ответ
от лукавого, ясности нет.
Не меня ли Господь сквозь толкучий вокзал
разглядел, не сказав почему,
незаслуженно дал, незаслуженно взял,
нет вопроса к Нему.

* * *

Николин день, белым-бело.
Сочувственников старой школы
с тобой проститься привело
по снегу зимнего Николы.
Рука художника, творца
сквозит зимой в саду хрустальном,
но свечку в пальцах у вдовца
задуло в зале ритуальном.

Меня в саду, меня в бреду
твоя спасительная сила
из Первой Градской в том году
непобеждённым уносила.
Покуда шёл неравный бой,
ни разу нас не отпевали.
А ныне оба мы с тобой
на сквозняке в полуподвале.

Такая жизнь — не твой устав,
такая смерть тебе не снилась.
— Я не согласна! — закричав,
ты изнурённо согласилась.
Но смертную рассеять тьму,
пройдя тайфуном по могилам,
ни старой школе, никому —
и Чудотворцу не по силам.

Спасибо батюшке — устам,
нашедшим звук тебе по нраву,
и слово *праведница*, там
произнесённое по праву.
Заглядывая далеко,
такие холода настали!
Лежалось тихо и легко
новопреставленной Наталье.

* * *

Я себя не смогу облапошить —
дескать, это на время.
Ибо время — рабочая лошадь,
и копыто, и стремя.
В переулке, как в тёмной аллее
без конца и без края,
ходит за полночь, тускло белея,
совершенно седая.

Не на время такая разлука,
не на пару минуток.
Дом без ласточки — лютая мука,
дымя отечества — жуток.
Я тебя отыскал без наводки,
потерял не за ради
обретенья беспечной походки
для прогулок в Зарядье.

Не отмыть человечество в ванне,
и в тяжёлом полёте
прекращается существованье
несущественной плоти.
Ты потом воскреси меня ради
твоего приказанья
задохнуться от шёлковой пряди,
от её прикасанья.

* * *

Отдаёт усадебной судьбой,
выросшей на ерах и на ятях:
это всё задумано тобой —
выйти замуж, умереть в объятьях.
Жизнь была и сделалась мала
и ушла от нас к другому дому.
Ты в моих объятьях умерла,
это не могло быть по-другому.

Сокращён сюжет о нас с тобой,
лишнее сдувается под старость:
ни одной фигуры — ни одной —
прочих персонажей не осталось.
Знак подам пещерному плющу
в бухту, где зимуют наши тени, —
урну с прахом на гору тащу
в рюкзаке для пляжных посещений.

* * *

О себе говорю — сова.
А на самом-то деле сыр.
О тебе говорю — жива.
Происшедшего не постичь.
И когда мне звонят: — Ну как? —
отвечаю, что на все сто.
И проваливаюсь во мрак,
и опять назовусь — никто.

И тому не вернуться вспять,
кто с далёких высоких лет
в Голубиную ходит падь
за голубкой своей вослед.
Как везёт он её на юг
для игры в миллион свечей,
чтоб над морем из женских рук
прах развеять, уже ничей.

* * *

Это всё не со мной происходит,
это кто-то другой
по завьюженной улице ходит,
погорелец с сумой.
Выползает холодная полночь
из бетонных щелей.
Подают ему щедрую помощь,
чтоб смотрел веселей.
Это горе, как минное поле,
это гибель, как танк.
Разрывается сердце слепое
по дороге в сбербанк.
Соотечественников поголовье
таст, гаснет народ.
Твой мобильник в моём изголовье
неусыпно орёт.
Отвечаю, за всё отвечаю,
в беспросветную тьму
круглосуточным хрипом вешаю
неизвестно кому.
Ты любила мой голос, любила,
ты просила: скажи.
Только правда — рабочая сила —
громоздит этажи
безо лжи. Это чистая правда —
голосит вороньё.
Для последнего в жизни парада
отдал платье твоё
похоронщику. Ибо мы оба,
дорогая моя,
составляли от века до гроба
двуединоея.

Владимир Лидский

Лиза-Малина и человек-мотоцикл

Рассказ

...И когда их вешали, сказал дед, оказалось: Чертопраху петля впору и длины верёвки хватает, но Лиза-Малина была так мала, что пришлось вязать снова, — кто-то из солдат побежал за другой верёвкой, её кинули на перекладину и уж тогда петля наконец достигла цели, — их вешали со сладострастием; они были маленькие, а казнителям казнь маленьких людей казалась экзотическим шоу, — может быть, они вспоминали, как в детстве вешали кошек или разрезали куском стекла червей, являвшихся после грозы поверх земли, — вот вешают они маленьких людей и вспоминают, как весело было в детстве, когда родители не видели до поры кошек и червей да не угощали их ремнём; Чертопрах с Лизой-Малиной стояли в верёвочных ошейниках и тоскливо смотрели окруж: шёл дождь, и картина, простиравшаяся под ними, была блёклой, мутной, похожей на серую фотографию, сделанную плохим фотографом в эпоху ученичества; их вешали на спортивной площадке у гимназии, в которой немцы устроили комендатуру, — поставили под турник две табуретки и готовились, а Чертопрах с Лизой-Малиной стояли и думали: конец! всему конец! — Чертопрах плакал, ему жаль было этого мира и своего маленького места в нём, — жаль было мотоцикла, цирка и Лизы-Малины, — он плакал, но дождь, слава Богу, смывал позор, и палачи не видели слёз; немцы гомонили, показывая куда-то руками, и видно было: дождь им не в радость, — повесить бы скорее этих малышей и дело с концом, — вот, торопясь, стал перед турником какой-то нижний чин и примерился сапогом в кирзе к шатким табуреткам, а серые люди в серых шинелях замерли, вспоминая дёргающихся в петлях кошек и извивающихся под сколами стёкол дождевых червей... чин занёс ногу и... кто вспомнит когда-нибудь Чертопраха и Лизу-Малину, которых вселенная не может отличить, хотя и должна отличать, ведь и Чертопрах, и Лиза-Малина были лилипутами; Лиза-Малина жила в Лиде от века, и никто не знал, где она взялась, — старожилы не помнили её родителей и говорили: она и не взялась, она была всегда, а заветная бабка Свидариха, лидская ворожея и ведунья, уверяла

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Постоянный автор «ДН». Публиковался в журналах «Знамя», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Бишкеке.

слобожан: Лизе-Малине — двести лет, и она помнит её ещё при дворе Августа Третьего, курфюрста саксонского, короля польского и великого князя литовского... тут я обычно подавал голос, негодяя, и с возмущением говорил деду: слушай, дед, ну это невозможно! ну должны же быть пределы! не было этого! — было! не моргнув глазом говорил дед, вот было же, и всё тут! — где ты берёшь эти байки, эти побасенки, продолжал я, уже заводясь, но дед осуждающие цокал языком и принимал грозный вид: было! убеждённо повторял он, и она была любимой игрушкой Марии Жозефы... какой ещё Марии? восклицал я, — супруги Августа Третьего, спокойно говорил дед, — Марии Жозефы Австрийской; тут я смолкал, решив, надо смириться, и продолжал слушать: имя своё Лиза-Малина взяла от торговых евреев, промышлявших воскресеньями на лиде ском рынке, — Лиза-Малина стояла с ними на тех рядах, в тылу которых был Школьный двор с Главной синагогой, — летом здесь предлагали фрукты и ягоды, а Лиза-Малина продавала как раз малину, потому что в её усадебке не было ни сада, ни огорода, а была малина, и только малина, — Лизе-Малине при её росте менее метра удобно было заниматься кустами, деревья же она постичь не могла, — вот и прозвище, которое, впрочем, ей хорошо подходило: она была крепко сбитая, соразмерно сложенная, лицо имела хотя и детское, но красивое, пышное, слегка тронутое морщинами, внешность её отзывалась Средиземноморьем, так она и была цыганкой — чернявой, яркой и, несмотря на рост, — зовущей; глаза были у неё глубокие, чёрные, с антрацитовой искрой, губы — алые, бесстыдные, а во рту Лизы-Малины поблескивали золотом два передних зуба — эдакий цыганский шик, непонятный белокожим народам; лиде ские евреи считали её своей, поляки, белорусы и редкие русские смотрели с интересом, но подходили с опаской: во-первых, цыганка, во-вторых, — маленькая, да подозревали её ещё и в тайных сношениях с Свидарихой, владевшей чёрными ремёслами и умевшей изводить утробных младенцев; цыганский след видели лиде чане и в училище *Гадание и иллюзион*, где Лиза-Малина сначала училась, а потом преподавала, — история этого училища была баснословная; основал его никто иной как мой великий дед, много чего основавший и построивший, не без пользы, к слову уж сказать, для себя, — в случае с училищем помогла ему протекция польского президента Игнатия Мосцицкого, — ещё в конце двадцатых дед устроил мотоциклетное ралли Лида — Варшава, а президент, приехав в Лиду ради открытия ралли, так подружился с ним на почве необузданых страстей в деле потребления лиде ского пива, усугублённого *крамбамбулей*, что дед вскоре получил льготные кредиты в Кассах Стефчика и Банке Польском, которые пустил на разные постройки и в том числе на возведение здания училища «Гадание и иллюзион», — помпезное здание в стиле модерн возвели на Сувальской, дед стал директором, преподавал там и за три года до прихода Советов успел выпустить в свет толпу фокусников, жонглёров, эквилиристов и бесстрашных дрессировщиков; Лиза-Малина пришла в училище в тридцать шестом, но учить её пользы не было, ведь она и так уже мастерски владела искусством *гадания и иллюзиона*, показывая изумлённым лиде чанам иной раз такие чудеса, какие постичь нельзя было ни умом, ни сердцем; гадание она знала *от и до* и потому проучилась в училище только девять дней, после чего дед сказал ей: нет нужды сей ученице ученье восприять, — он сам был немалый виртуоз гадания, которому научили его румынские цыганы в пору дальних странствий; проверив Лизу-Малину на знание предмета, он понял: способы гадания на картах, воске, кофе, ржаных хлебцах, рисовых зёрнах, сновидениях, на охапке дров, ложках, рукавицах и с помощью зеркал знает она едва ли не лучше его самого, а изощрённость гадания на огне, костях, ногтях, павших волосах и нитках из одежды превосходит самые смелые его ожидания; были

в её арсенале также прорицания по крови забитых животных, по полёту птиц и падению камней; секретным гаданием занималась она только дома — при замкнутых дверях и сомкнутых ставнях: то было гадание по Библии, Гомеру и Гесиоду; к слову уж, она знала даже *фаль*, то есть пророчество с помощью Корана, но поскольку мусульман в Лиде отродясь не видели, то редкое умение оставалось втуне; зато она владела ещё экзотическою практикой: гаданием на панцирях черепах и гаданием по И цину на стеблях тысячелистника; настольными были у неё «Гадальная книга царя и пророка Давида», «Чаровник», «Громник», «Лунник» и «Вселенская печаль»; местные католики подозревали её в ворожбе, потому что она любила обходить вокруг Костёл Воздвижения Святого Креста, а когда она зачастила за Каменку, где жила Свидариха, да принесла от неё «Волховник», уж и православные стали думать, будто цыганка знает живую воду оборотня и мёртвую — от оборотня; стало быть, героиня истории была баснословным персонажем, уверял дед, и ты сам видишь это лучше меня, но ведь такому лицу, добавлял он, пара к лицу, и вот парным лицом Лизе-Малине мог стать лидский бандит Витольдик, который сначала промышлял дерзким грабежом, а потом, после истории с ограблением почтового поезда Виленского казначейства, одумался, потому что понял: судьба два раза шанса не даёт, — понял и поступил в училище «Гадание и Иллюзия», — всё-таки иллюзия не в пример спокойнее разбоя, а деньги почти те же; тут Витольдик познакомился с Лизой-Малиной, и добро бы им, тем более что и он был маленького роста, но нет! удручила судьба наших мимолётных любовников вследствие большой симпатии пана Витольдика к дочке деда Соне, которая мне, стало быть, приходится природной тёткой, — Соня оказалась сильнее цыганки-чаровницы, но это, впрочем, отдельная история, которая уже рассказана, а вот Витольдик здесь нужен как зачинатель шапито, построенного им в Лиде с помощью поляка-шапитмейстера из Гдыни; этот цирк был очень популярен: его знали не только в Вильно, но даже и в Варшаве, — народ специально ехал в Лиду, чтобы увидеть представление, на котором можно было утонуть в гадании и иллюзии, позабыв хотя бы на время страсти мира, — поток поклонников волшебных преобразований достиг вскоре чрезвычайного объёма, — Витольдик попросил деда снести со своими братьями-цыганами, от века кочевавшими вдоль берегов Дуная в окрестностях Браилова, и дед снесся; зная, что табор распался на три части — индийскую, кенийскую и палестинскую, — он пустил в свет почтовых сизарей, которые, достигнув целей, доставили в таборы записки с просьбой командировать в Лиду Чертопраха, — Чертопрах был лилипут и человек-мотоцикл... стой, дед, не удержался я, а как же голуби знали место назначения? ведь это снова баснословие! нет, сынок, сказал дед, тут как раз всё элементарно: у меня были голуби, а в таборах — голубки, вот голуби и знали, куда лететь; только ни в Индии, ни в Кении, ни в Палестине Чертопраха не случилось, он был на Дунае, — отбиввшись от табора, зарабатывал большие деньги, — сыскали его мои люди, ибо у меня везде же люди, сыскали и говорят: пожалуйте, пан Чертопрах, в Лиду! а он им говорит: у меня тут золотишко рекой, я же большие деньги зашибаю; Чертопрах был цыган ростом в сто восемь сантиметров, но все знали, что он, как и было сказано, человек-мотоцикл и в слиянии с машиной не просто большой человек, но великий иллюзионист, способный на редкие чудеса; аттракцион его состоял в полётах над Дунаем, — люди платили деньги, алкая увидеть неведомую небывальщину, собирались толпами на берегу реки и в необычайном возбуждении следили за действиями Чертопраха; попасть на берег можно было, миновав будку кассира и оставив там свои кровные, а дальше путь зрителей лежал в огороженное решётками пространство, где мотоциклист собирался разгоняться; у Чертопраха был дорогой немецкий Ногех, который стоил

аж 1570 рейхсмарок, то был зверь, а не мотоцикл, и вообще он стоил много дороже, ведь цена поставщика не шла против денег Чертопраха, вложенных в сию машину: бензобак мотоцикла был позолочён и причудливо отображал окрестности, барабаны колёс вылил Чертопрах из серебра, а руль — из золота... стоп, стоп, дед, остановись! воскликнул я обычно в этом месте, — как это вообще возможно? — опять! с горечью глядя на меня, тихо говорил дед, — как ты можешь? ведь я рассказываю историю, которая хоть и не кажется тебе подлинной, а всё же ведь является таковой... да! сиденье машины было обшито кожей аллигатора, рычаг сцепления и ручка газа исполнены из бивня мамонта, фара выточена из цельного куска горного хрусталия, а задние катакофты — из прозрачного рубина... ну, всё! терял терпение я, — не всё! возражал дед, — выходя в сумерках на старт, Чертопрах крепил на багажнике с помощью серебряных колец два факела, справа и слева, воспламенял их, достав коробку шведских спичек, — садился на мотоцикл, включал зажигание, выжимал ручку газа, понуждая тридцатисильный движок рычать разъярённым тигром, красовался в седле, картиною крутился, посыпал дамам воздушные поцелуи и, наконец, опустив со лба огромные очки-консервы, трогался с места, — газуя сильнее и сильнее, набирая скорость и разгоняясь до предельной, он нёсся к дунайскому берегу артиллерийским снарядом, и ураганный вихрь сопровождал его! — мотоцикл ревел, грохотал, гремел, взрезая рыком пространство, грозя гражданам гроздьями грязи, летевшими с колёс и — взлетал! — взлетал с высокого берега Дуная, ввинчиваясь в сгустившийся воздух, подобно стреле, летел над дунайской водой на противный берег, ссыпая сырьё искр с бушующего огня факелов, и вдруг — вспыхивал! мотоциклистная куртка Чертопраха плывилась, развевающаяся на ветру волосы его трещали, пламя отражалось в золоте бензобака, а рык движка разносился окрест! густок солнца, безумный протуберанец, гудящий огнями ада, рвался к земле и, пролетая над закипающей дунайской водой, ронял в неё куски раскалённой магмы! мотоцикл летел над Санаем, встречные потоки воздуха подхватывали его, и вот он уже парил, медленно приближаясь к дальнему берегу, и теперь искры плавно, словно бы нехотя, сыпались с него в жемчужные сумерки, — он летел, летел, летел и, наконец, с грохотом падал в приречную грязь противоположного брега, делал крутой вираж, чтобы погасить скорость, и — останавливался; столб золотого пламени шумел над ним, и изумлённые зрители смотрели не отрываясь на огненного мотоциклиста, и всё никак не могли прийти в себя... был, впрочем, у Чертопраха конкурент — некий Санду, укравший у него идею и мечтавший денег; родился Санду в Браилове, в семье ювелира, делавшего дорогие украшения господам и дешёвые — цыганам; Санду хотел пойти по стопам отца, стать богатым, успешным, уважаемым, — когда он плавил латунь, ему представлялось, что в тигле золото, когда вставлял в оправу стекло, думал, что вставляет топаз, но работал он плохо, был криворук, косоглаз и нетерпелив, вот и украл как-то у отца изумрудное колье и огранённый сапфир, — колье продал знакомому барышнику, а сапфир заначил; отец высек его и погнал из дома, так он, не будь дурак, пошёл в браиловский порт, вынул заначенный сапфир и показал капитану, капитан соблазнился и взял Санду матросом, так тот и попал в Америку, где стал потрошителем сейфов и любителем кокаина, но ненадолго, — полиция его вычислила, выгребла награбленное да и пустила восьмаяси, — жил незаконно, грабил незаконно, полицейские подумали и решили: пусть валит, а нам — прибыток; вернулся он в Браилов, увидел афишу Чертопраха, на которой было написано *Человек-мотоцикл*, сходил на берег Дуная, посмотрел и думает: а ведь и я так могу! купил очень старый Harley-Davidson, который по слухам был когда-то в армии Панчо Вильи и участвовал в набегах повстанцев,

Елена Грэг

Деточка

Антиповесть не про анорексию

Посвящаю искорёженной зеркалом моей семье

Часть 1

Потерянный рай

Перед этим горем гнутся горы,
Не течёт великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.

Много ли ты помнишь цветов и звуков из полузабытого мира теней? Где сейчас та страна, та страна, где жила ты несколько лет? Поют ли птицы в той стране — голоса, шепчущие о помощи и о том, что все цветы сегодня умирают?

По заброшенным дорожкам, вымощенным аккуратным больничным гравием, по забытым, пыльным, заброшенным дорожкам идут сонные дети. Это дети, потерявшиеся в мире теней. Дети, сомкнувшие веки, бредущие медленно, плавно — в никуда. Дети, шепчущие о помощи. Тише! Они спят — живые в живых городах, спят на людных улицах, разрезаемых автотрассами, спят на глазах у людей, думающих, что и те, спящие, тоже живут, как и все, как и они, — тоже от причин плачут. Но не замечают живые люди, что спящие спят. Не знают, что кроме привычного — с дорогами, школами, домами — города, кроме динамичного, нарочито деловитого мира, — есть мир теней, где бредут сонные дети, спотыкаясь о собственные мечты, как корабли о камни. Можешь ли поручиться ты, знающий многое о жизни, что они когда-нибудь проснутся, что их возвращение будет окончательным, и однажды неожиданно рухнут, обратятся в прах тысячи клеток, а из силков вязкого тумана освободятся навечно мотыльки? Ведь дети засыпают в разные годы своих разных жизней.

Елена Грэг — творческий псевдоним Елены Лепишевой, литературоведа и критика из Минска, автора статей о современной литературе и театре на страницах журналов «Дружба народов», «Нева», «Театр», «Цирк Олимп + TV», «Дзяяслоў» и др. С художественной прозой выступает в печати впервые.

А потом остаётся лишь манящий далёким светом коридор и тесная комната — вечная комната с белыми стенами, и бесконечное движение в царстве теней, медленный танец на самом краю жизни, на грани смерти и краха, между достижением и усилием, между возможностью и реальностью...

Помнишь?

Как к высохшей ветке приклеенные, мы глядели тогда робко, беспомощно — укрывались в мире теней. Как рыжие листья, мы были брошены, оставлены на произвол ветра, свирепого ветра, задувавшего свет наших желаний. А быть может, сами — ступили на безвременный путь в коридорах вязкого тумана? Заигрались и забыли, в какой стороне выход?

Тогда мы верили: и трепет на ветру, и первый дрожащий шаг можно оставить себе. Мы думали, что их нельзя ни потерять, ни забыть, их не украдут и не отнимут. Это наше, только наше право на голос или приглушенный шёпот, шорох звуков, тишину.

А сейчас веришь?

* * *

...Между возможностью и реальностью...

Я гляжу на пожелтевшие листы из школьного блокнота, испещрённого дрожащим, убегающим вниз почерком. Единственного блокнота, уцелевшего в огне последней детской зимы. И тем более странно он смотрится здесь, на добротном письменном столе в заставленном книгами кабинете.

К нему как-то неловко прикасаться — даже мягко, бережно, плавно. Тёмносиний, долго теснёный переплётами чужих книг глянец, типографский вензель, почти стёршийся о чужие обложки и время. Торопливо разглаживаю обиженную бумагу и не понимаю, как могла засунуть блокнот вот так небрежно на самую дальнюю полку, прямо в сердце пронзительных и честных стихов. Так и не узнанных до конца, не принятых, а подхваченных наспех, второпях суженным подростковым сознанием. Так от отчаяния, режущего тушью неумело накрашенные глаза, хватают первое попавшееся —озвучное, близкое. Так очищающий глас народного горя замыкается в тавтологическом кругу личного, даже не «горя» и тем более не «народного», — приглушённого крика, всхлипа. Не потому ли эпиграф для своей полудетской «антитовести» я выберу из «Реквиема»?

Я не писала её каждый день. Иногда не возвращалась к записям и по году. Передо мной — обрывки доверенных бумаг воспоминаний, случайно оброненные фразы, размытые лица. Всплывают теперь в памяти спасительной неслучайностью: искать объяснение всегда проще... Тогда же просто хотелось как-то зацепиться, удержаться, оставить след. Хотя бы дрожащий, от свирепого ветра нетвёрдый на петляющем пути, по которому сейчас я иду благодаря угодливой памяти. Иду, читаю спутанные записи и не знаю, так ли бесконечен путь между новыми, рождёнными на добротном столе строками и теми, полузыбтыми?

Вот они — обгоревшие листы, гонимые в беспомощном трепете послания в будущее с хрупкой надеждой когда-нибудь выплыть — проснуться — рассказать о людях, о которых никто не напишет. И вот — аккуратные страницы на компьютерном мониторе, набранные в суровом порыве приговора, вынесенного уже после.

*I**В страну вечной молодости и красоты*

Зеркало, зеркало на стене,
Кто всех прекрасней в этой стране?

После...

После фиолетовой лестницы... Режет маленькие глаза резкий запах в привокзальном подъезде.

— Чего боится лапочка?

— Крана, экрана, вампочки!

Не устают сгибаться-разгибаться, карабкаясь по скользким ступеням, стёганые сапожки. Ещё не отбегали своё по усыпанному снегом и палочками скверу, где простила бурая скамейка, не приглашая садиться. Ещё стопчутся о пыльные ледышки рядом с песочницей, где уснула ржавая горка. Теперь вот сердито стукаются о барьеры бетона в подъезде, стараются не прозевать вонючих луж и вылезших из фиолетовой лампочки теней. Крепче стиснуть хвост маминого пальто, выдернуть новый снежок меха — сделать лисичку.

Как-то долезть до пятого этажа, кулём ввалиться в общий коридор с лохматыми обоями и убегающим вверх потолком, шарахнуться о соседский склад коробок и ящиков, выпросить щёлкнуть замком на двери комнаты. Из зеркального, почти в пол, окна видна весело спешащая площадь с бессонными поездами, линялыми демонстрациями, мёрзлой трамвайной остановкой. Это от неё мы шли домой: снежинки в лицо, кусачие ворсинки шарфа на губах, пухлой капустой платок, прикрывающий лёгкую не по сезону куртку. Ни за что не передам маме совет борщистых щёк достать новую.

После комнаты...

В общей квартире, подальше от кухни, запретной, общей — неходить, не шастать в тараканье заразе, не надоедать соседям. Наконец, воскресенье: дождаться встречи двух стрелочек на причудных, из южного дома, часах — покажут диснеевские! Яркие, настоящие, выскакивают из блестящего экрана. Можно потом и самой нарисовать на маминой перфокарте — будут спасать пахучий ацетоновыми фломастерами город. Покрасуются в кармашке тетради с секретиками, подождут следующего раза. Всё ли верно запомнила, проверю через неделю у телевизора — большого, выпуклого, посередине — там, где раньше вешали простыню. Она была для диафильмов, а ещё этот... Противно-молочный, в синяковых подтёках от изоленты, фильм-мо-скоп — напоминает «скальп»: скрежещет, хрипло нашёптывает, опять склокожил плёнку, не напасёшься, — уже не стесняясь страха, схватить маму за руку. Даже в темноте днём стыдно бояться, а вот ночью — тихонько, чтобы поменьше скрипели рёбра дивана, можно и под мягкое крылышко, отпихнув сонную сестру.

Вместе весело шагать — точно про нашу комнату, где за сморщенным от старой клеёнки столом не болтать ногами, не ловить ворон, а ждать ужина, настоящего, тёплого, самого-самого не детсадовского! Потом припрятать крошки в ладонь — помочь маме, сбегать за желтоватой ванночкой через соседский склад в другую комнату — папину. Жёсткая пенальная кровать, тумбочная табуретка, ящик с чертежами и инструментами, холодок от голубино-сигаретного балкона. Неходить, не

шастать: на честном слове ржавые перила, антисанитария — не выглянуть на улицу, не проследить, как покидает тусклый двор одинокий снеговик.

После первой школы...

Грузно угрюмиться за холодными, с острыми шпилями, воротами. Огромное крыльцо, шершавые деревяшки на раскатистом полу, странное эхо живёт только здесь, в сквозняковых коридорах, и никогда не появляется со мной в запертой комнате. От неё до остановки, а потом на дребезжащем трамвае, по дороге вдоль железного забора до самой школы — тридцать пять минут, мы засекали с мамой.

А в классе за партой бережной стопкой, подальше от моего аккуратного локотка, пенал с лысой головой и обведёнными от скуки буквами про учёбу — учёбу — учёбу, очищенные ножом и папой карандаши, промокашки в тетрадях. Тихонько поддеваю пальчиком чёрточку, пытаюсь стереть серый грифель: забыла стёрку, и как-то стыдно попросить у таскающей оладьи из лукавого фартука соседки. Задребезжит колокольчик — повытолкаются в коридор, потом вниз по лестнице к разноцветным шкафчикам для первоклашек, похватают кто зимние ботинки вместо пахучей сменки, кто за уши шапку, а то и тайно привязанного щенка.

— Кто оставил в раздевалке животное?

Доволен переполохом двоечник из далёкого общежития — подмигивает, и всё-всё в нём смеётся: и разбитый нос, и кляксы на форме, и задорная стрижка под машинку, и такая же — у мамы. Тоже подмигивает, потешно замахиваясь сумкой с добытыми сосисками.

Мы играем с ними «в бананы»: обдираем тонкими ленточками запёкшуюся шкурку. А есть и взрослая игра — сосиски и бананы «добывать». Однажды три часаостояли с мамой в серой очереди. Мне что? Не канючу и не ною, рассматриваю, как подъёмные краны таскают блоки будущего жилища — хорошо кому-то будет, в новый дом переедет. Или вышагиваю вдоль молчаливых пальто и гордых пуховиков, отмеряю, далеко ли до грязноватых от талого снега коробок с яркими банановыми кляксами. Уже вблизи оказалось, что с зеленоватыми гроздьями (я придумала — модными, салатовыми), которые ещё долго будут дозревать дома: за манящими стёклами серванта, в шкафу на освобождённых полках, даже в тумбочке от швейной машинки.

Но это праздничная еда, а есть и обычная: в школьной столовой за монетки повидловые пирожки, — потом в следах липких пальцев весь фартук. Или вот сосиски-«бананы». Или со сладкой мякотью терпкий сливовый сок — де-фи-цит:

— Пейте сейчас, родители вам такого не купят.

Получается, вроде как и мы в школе «добываем»...

Зато сколько хлеба можно купить в заводском магазине через дорогу во время голодной продлёнки! Тёплым мякишем обласкает внутри, согреет — ешь хоть полбуханки. Сначала самое вкусное, горбушку, — прямо на прогулке. Побродить по заиндевелому двору, послоняться среди говорливых девчачьих парочек, а потом засесть у окна в классе, надуввшись как мышь на крупу, — ждать маму.

И вот мелькнула в школьном дворе любимая меховая шапка, и я уже бегу ей навстречу, обнимаю, облапливаю, вдыхаю вкусный морозный запах, глажу ободранный мех пальто. А вскоре мы уже у школьных ворот, потом на остановке — с рассказами взахлёб про пятёрки, которые не остановит даже гул подмороженного трамвая.

В один из таких послешкольных вечеров и состоялась первая встреча с ре-пе-тиционным залом. Пусть выговаривает тяжёлое слово мама, записавшая на бальные танцы: «модно, недорого, в шаговой доступности, профилактика нарушений осанки».

Широким окном, зорким глазом великана глядит зеркало — чудесное, сказочное, большое — никогда такого не бывало. В нём наступлено сутулится девочка: не нравятся белоснежным носочкам чёрные чешки, не натягивается улыбка на зефирные щёчки, слишком тую заплетены колоски, кто выдумал уколы шпилек? Хлесь — больно указкой по невыгнутым коленкам — Химия в засущенном трико — тренер. Почему каракатицы, жирные дылды, группа здоровья? Что не так с цветастой, ещё садовской, юбкой?

Через день в зеркале уже как надо: чудно воздушная, остро накрахмаленная, из дефицитных розовых ленточек: глаз не сомкнула, в кровь сколола все пальцы мама. Не складываются в слова, стыдно путаются буквы в тетради — тянуть носки веселей, надёжней. А ещё — чутко слушать музыку, проговаривать такт. Внимательней, чётче, рече — два шага звено, закрытый променад! Ничего не упустить, всё запомнить — как считалочку, как пятёрошный стишок, как заклинание.

Через месяц научилась правильно улыбаться, кланяться, подбирать живот — та, что в зеркале. Вытянулась, постройнела, формируются подходящие ножки — так говорят. Значит, подходят быстро, ходко, когда надо — помогают, а уже — не ходят, не шастают. Погладила холодной рукой Химия в трико — поставила в пару. Какое счастье иметь партнёра — редкость, большая ответственность! Не ватрушную партнёршу-толстушку — притащила мама за потную руку, — мальчика, черноглазого, худенького, настоящего! Ещё сильнее тянуть носочки, выше забрасывать ногу, выпрямить спину, не бояться хруста! И тихонько щипать бок озорника: вертится как на шарнирах противный чертёнок, по залу носится, смеётся, не хочет слушать ни музыку, ни тренера, ни гладко причёсанную девочку в зеркале.

Через весь город на перекладных — трамвае и двух автобусах — на первый конкурс. Липнут от горькой помады губы, жжётся тушь на сияющих от волнения и ветра глазах, в целлофановом чехле — расшитая блёстками юбка из пионерских галстуков: костями легла — за ночь сшила мама. Надо выделяться на фоне кособоких и неказистых — не опускать уголки губ, ярче искриться, судьям подмигивать. Затаила взорванный комочек, кольнуло что-то под кофточкой — больно и сладко, — не разобрать. Скованные морозом пальцы, оттоптанную ногу, орущего контролёра — всё забыть, впиться ногтями в чертёнка. Свист, визг, топот — отключить, доверять только музыке, она выведет, не обманет. Уже твёрдо выверены движения, грациозно ступает, мило опустив ресницы, девочка: они смотрят, восхищаются! Затейливым вывертом поклон, благосклонные судьи подмигивают, оглушают аплодисменты — первое первое место. Залпом заглатываю шквал: звуки, краски, запахи — всё прямо на меня! Мокрая щека мамы, горечь помады на стыдливо дрогнувшей губе — ни за что не разрыдаюсь... Да и чего реветь? Завистливые каблуки кособоких — «лапочка», «милашка», — чужих тренеров. Вот что значит — «ликуют», теперь понятно, как это — «умиление».

Легко, струйно, уверенно влетаю в раздевалку, не успела увернуться круглая сестра — полетела на пол. Нечего зевать, ворона нерасторопная, не надоедай, не путайся под ногами! Спешу напоследок заглянуть в зеркало: до чего хороши напомаженные скулы, ресницы, тонкая талия под пионерскими галстуками — все смотрят, восхищаются.

Уже за надёжной дверью забраться под плед, под скучные новости слизывать сахарную пудру с добродушных пончиков, вспоминать грустный в моросящем снегу уличный лоток. Громоздит ящики скалозубый сосед, рычит ржавый кран в ванной — всё равно они смотрят, восхищаются!

И уже после привычных триумфов, череды первых мест на школьных — районных — городских конкурсах — бьющие в лицо вспышки прожектора. Другая сцена — в просторном зале нового клуба, того, что котируется, один из лучших. Запастись хлестким от бешеного ритма воздухом, чтобы не потеряться в стремительном потоке звуков. А они ударяют в виски, пульсируют разрядом в сердце. Ещё чуть-чуть, и не выдержу... Погрузиться глубже... и раз! Чача-раз-два-три! Чача-раз-два-три! Держать такт, держать локоть в изящном сгибе, держать под идеальным углом голову. До судороги в шее, до перехваченного спазмом дыхания.

— Держать, гордая испанка! Почему опустила руку? А как же тореро? — это сверкающий лысиной и улыбкой, в облегающем брюшко жилете, в бархате бабочки новый тренер.

Он из нового, ослепляющего зеркалами мира, где нет места отяжелевшим. Мы, угловатые девочки с испуганными глазами, накрашенными заботливыми мамами, восторженно следим за теми, кто на несколько лет раньше ступил на путь молодости и красоты. Выездные в недосягаемую Прибалтику чемпионки, они привозят розовые очки, мягкие тапочки-звери и ботинки на тракторной платформе. И главное — атласные туфли нужного размера, струящийся калейдоскоп страусиных перьев, колышущихся на бальныx платьях.

Помню стразы, ударяющие жаром софитов, цепкие накладные ногти кислотных оттенков, запах экзотики автозагара, лака «Прелесть» и невозможно взрослого парфюма. Мы называем их *большими девочками*: плывущая в танце грудь, песочные часы-талии, какой-то мясистый рельеф мышц. А у меня — руки тонкие, болтаются на шарнирах вздёрнутых плеч плёточки, почему-то стыдно смотреться в затейливое трюмо — беспощадного судью в раздевалке.

Стыдно — мне, но ведь есть глаза, суженные, жалящие, готовые отдать всё на светe за эти плёточки. И за узловатые коленки, от худобы вылетающие из суставов. Значит, когда-нибудь будут и после меня, как после *больших девочек*, собирать трофеи: оброненные пёрышки, ноготки, блёстки, стразы.

Подходит только новое слово — мемориал — для гордого музея этих находок: соорудила в верхнем ящике домашнего стола, старательно не замечая трещины. Отодвинула сестрину коллекцию жвачных наклеек и даже мамы-папины инженерские дипломы — готово. Немытыми лапами не трогать, не брать без спроса! Когда-нибудь буду вспоминать, как начинала звёздный путь красивая-богатая-знаменитая.

Появилась и священная кассета для неподобающе старого магнитофона, чтобы оттачивать танцевальные движения у подсвеченного вокзальными огнями окна — моего домашнего «зеркала». Держать такт, держать изящный локоть! Неустанно кружусь, шаловливо дрыгаю ножками, грожу истончённым пальчиком воображаемым зрителям. Под окрыляющую музыку, в импровизированном костюме — южном платке с люрексом — громко, смело, забыв о приоткрытой двери. И — заветная награда: счастливые хлопки мамы, шквал оваций заглушает даже похрустывание сушек сестры. Пригласили полюбоваться и папу: почти не спит в своей комнате, наверняка придёт и на конкурс — тоже хлопает, вот-вот приобнимет, называет торбами — меня и пухлую любимицу. Сдержаны, не полезли вверх дрогнувшие мамины уголки...

И всё время так беззаботно легко, так возвыщенно чисто, понятно, спокойно! Школа — тренировки — школа — тренировки — доверенное выступление на республиканском чемпионате.

Нравится канифольный лоск вылизанного специально к прогонам новых программ паркета в нашем зале, нравятся иностранные слова выездных пар, нравится

благосклонная лысина тренера. Живо поддакивает маме, пересчитывая американские деньги за индивидуальные занятия. Разве не под стать мои резиновые жилки, лебединая шея, костиные ключицы? Неправильные стопы — натренировать, исправить! Не хватает гуттаперчевой гибкости — подождём-увидим... Поджала обветренные губы, вспыхнули гордые искорки: пусть тренируется, целеустремлённость вырабатывает, будет и новое платье, закажем у профессиональной портнихи.

После тренировки...

Поздний вечер. Разобраны в чопорном, с душистыми вешалками гардеробе прибалтийские пуховики, маслянистые дубленки. Разъехались в вымытых до блеска кожаных салонах *большие девочки*, их бизнес-папы, тренер. Брошена всеми промозглая остановка, в трамвае со стекольными узорами никого, кроме нас с мамой. Бок о бок одинаково заиндевелые — куртка болотного цвета, мешковатого размера, подешевле, и пальто с ободранным мехом, рука в руке замёрзшие ладошки.

А всё равно выпрямилась! Забыла домашний застиранный халат, чаще постукивает каблуками тапочек на общей кухне. Погромче бы прикрикнула и на сумасшедшую соседку — ту, что с непонятным «волчьим билетом», безнаказанно исполнит угрозу: обварит нас с сестрой кипятком...

Почему-то вспомнилось: ещё до танцев, манящий свет на пожелтевших обоях, строгий глаз сумеречного окна, бессонные гудки вокзала. Не прокрасться в комнату пыли из общего коридора — запертая дверь защищает надёжно. Не оглушить и свирепому рыку свёрнутого соседом крана в ванной — подогнув подросшие ноги, вымоемся в маленькой, детской. Не добраться и до взрослого, загаженного тараканами туалета — не выбросим детский горшок, спрячем в тёмном углу комнаты. Не испугать и сумасшедшей волчихе — заткнуть уши, не слышать маминого плача, забыть клокотание храпа из комнаты возле склада: с самого счастливого воскресенья спит папа, не уехал по служебным делам — я знаю.

За что она на нас — так? Почему пухлая — отродье? Интри-ли-гентное — слово-то какое... Тихонько вырвалась, прошмыгнула на кухню — не знала, что чужие гости...

Сижу на потёртом шершавом ковре, подготовилась... Нерасторопная ворона, я совсем не знаю, куда в этом бедламе подевался ремень. Потому что, хоть торба и прожорливая, последнюю конфету съела, а всё равно жалко. Не ходить, не шастать — кипятком обварит или отравит, зараза, будем потом уродины неказистые, толстые.

Ничего не вижу, не слышу, знать не хочу — не отрывая глаз, смотрю на экран грузного телевизора. Оттуда — карнавал красок, стройные ноги, открытые купальники, завораживают улыбками лица.

— Московской красавицей стала... — барабанная дробь, захватывает блеск софитов.

— Не стала — новая растёт! — неожиданно смело, гордо — пусть все восхищаются, смотрят.

Уже обдаёт жаром калейдоскопический вихрь, волнительно щекочут и струнный перезвон, и восторженные голоса, и вспышки камер. Куда-то ускользает, влажно размазывается, тает запертая комната с горшком, как шёпот затонувших в памяти телепомех.

Сергей Попов

Прежний чертёж

* * *

Где частный сектор — в улочках, внизу —
лукавит март на голубом глазу.

И заливает спирт за воротник.
Хоть вечер мал, да дорог золотник.

Там дед Пихто — ему сто лет в обед —
на левом зелье взращивает бред.

Вещает влёт, страшает в пух и прах —
дрожит халупа на семи ветрах.

Дрожат сидельцы в лагерном дыму
под окрик «выходи по одному!»

Лежат вnaval истории разлук,
где стопари, яичница и лук.

И стынут по развалинам жилищ
те, кто кромешно яростен и нищ.

Заносы, девяностые, весна,
что холодна и в доску неясна.

Там из тридцатых смотрят мертвяки,
как вехи из-за призрачной реки.

Она вблизи — два тоста до неё.
И над ворьём жиরует вороньё.

Попов Сергей Викторович — поэт, прозаик. Родился в 1962 году. Окончил в 1985 году Воронежский медицинский институт им. Н.Н.Бурденко. Доктор медицинских наук, профессор. Окончил Литературный институт им. М.Горького. Автор многих книг стихов и прозы, среди них «Травы и тропы. Книга стихов» (М., 2020), «Крылья над крышами. Избранная проза» (Воронеж, 2021), «Вся печаль. Книга стихов» (М., 2021). Лауреат престижных литературных премий. Живёт в Воронеже.

И снег не унимается оплечь.
И не смолкает взбалмошная речь.

И не бледнеют в недрах темноты
лукавые хозяйские черты.

Полночный трёп, угар береговой,
в котором гости тонут с головой.

И не спешат принять на посошок
да пригубить запальчивый снежок.

Но сумасшедшем светом из окна
сплошная наледь заполночь полна.

* * *

Где круглая бесповоротна земля
и планы сбываются наоборот,
кровавое солнце даёт круглая
и молнии в свой пламенеют черёд.

В бескрайнем краю непрестанно кровит —
то непоправимый рассвет, то закат.
Война ли, подвинутый ею ковид,
народ, что до первой грозы языкат.

Как будто расчерчен для кровопотерь
весь в меридианах причудливый шар,
где сколько в его параллели ни верь,
а не отпускает, что мир обветшал.

Но если меняется прежний чертёж
и устаревает строение душ,
становится сам на себя не похож
коллаж расцветающих яблонь и груш.

Где бывший кукохится гемоглобин
над самообманом земного родства,
откуда-то из позабытых глубин
безумная произрастает листва.

Давно у бессмертия всё на мази,
и кроны заходятся присным огнём...
А что за печаль поджидает вблизи —
всё дело лишь в определенье твоём.

* * *

проходит время задом наперёд
и хорошо что смерть была вначале
и календарь про завтрашнее врёт
и военкор не любит про печали

и говорит что хватит посыпать
башку кровавым пеплом интернета
к пирушке стол к безумию кровать
чтоб рокировка радowała эта

и в самом деле ночь уже была
и доверять глазам своим не стоит
и сажа жизни сызнова бела
в горниле событийных синусоид

и не чета сегодняшняя жуть
вчерашиней тьме кромешного разъятья

откуда тянут выверенный путь
по беспределу ненависти братья

и если перевёрнуты теперь
земля и небо небыли и дрожи
невосполнимый перечень потерь
на много лет становится моложе

и вырастают хроносу в ответ
грибы и волны ядерного пота
и правоты для плакальщиков нет
и воскресенье ближе чем суббота

воскреснут все кто в списки занесён
и кто пропущен в силу недогляда
и если смерть всего лишь краткий сон
её ничем оправдывать не надо

* * *

Всякая правда сходит к утру на нет,
если о прежнем не забывать всю ночь.
И на свету такой расцветает бред,
что и коньяк не в силах уже помочь.

Время перерастает в кору дерев,
лучше и лучше видимых из окна,
что проступают, вдребезги постарев,
точно погибший город с морского дна.

Околозимних туч серогривый ил
приобретает контуры крон и крыш —
кто-то их в раннем олове повторил,
где ничего по-новой не повторишь.

И воплощений облачных череда,
перемещений умерших и живых —
это всего не более, чем вода
на выраже времён при распаде их.

Гаснут значенья по закоулкам сна,
ширится яви выстуженный объём,
но для теней оказывается тесна
жизнь, что с безумьем пестовали вдвоём.

Вот и вплетаются оклики диких дней
в неистребимый здешний вороний грай —
будто бы птицы призрачные родней,
сколько в любовь к дальнейшему не играй.

Даром с пернатыми старая правда врозвь,
и не нужна она в сущности никому.
И пробирает нынче уже насквозь,
и хорошо усвоено — почему.

Это безвременье. Это внезапный снег.
Это тепла последние облака,
что примиряют напропалую всех,
если они явились издалека.

* * *

И рвётся хлопчатобумажная ткань,
и поезд уносится в тьмутаракань
от ясных огней комбината,

где дверь открывалась в общаге пинком
к той, что ночевала за ткацким станком,
взрываясь потом как граната.

Она материла страну и судьбу,
отца, что увидела только в гробу,
молодчика с банкой водяры.

А после твердила, что всё это чушь,
что ясно как пень, что не нужен ей муж —
и так всю дорогу кошмары.

И сваливать нужно, чтоб душу спасти, —
из жизни, где всем на работу к шести,
немедленно бечь без оглядки.

Единственно — было бы только куда —
в какие-那样的 дома-города,
где всюду другие порядки.

Где реки кисельные, а не мазут.
И в отпуск по ним теплоходы везут
до самого синего моря.

И что-то смещается в твёрдой душе,
когда она вовсе окрепла уже,
всему сухопутному вторя...

А хахаль ещё добавлял пятьдесят,
смотрел, что и днём тут созвездья висят —
и свет ни уму и ни сердцу,

которое тешил обратный билет
в нагрудном под пачкой чумных сигарет,
что нравились единоверцу.

Вика Беляева



Нино

Рассказ

Впервые я обрадовался своему дню рождения благодаря тёте Нино. Не думал раньше, что день рождения — какое-то особенное событие. Праздник, такой же, как и остальные. Мать пирог печёт, гости — сослуживцы отца, их дети. Всё то же самое и на Новый год, и на День Победы. Даже Первомай лучше — хотя бы демонстрация есть.

Признаться, праздники я не любил вообще никакие. В эти дни меня особенная тоска жгла. Даже если все дома. Особенно, если все дома. Вот брат мой, Славка, другим родился. Чем больше народу, тем ему веселее. Он и пироги маминой хвалил, и пельмени, и борщ запросто. Послушаешь его — поверишь, что ничего лучше он в жизни не едал.

А если я начинал хвалить, то выходило как-то глупо. Мать хмурилась, её серые глаза холодели. Она смотрела с недоверием и говорила: «Ну что за представление? Не нравится — не ешь. Знаю ведь — не нравится».

Вкус её пирогов мне на самом деле был безразличен. Нравились больше всего тури с сыром. Славка знал, кричал: «Мам, ты Лёвку не корми зазря, он всё равно потом кинзы с хлебом навернёт!» Мать слушала Славку, переставала хмуриться, нежно касалась его макушки губами, а он улыбался в ответ и обнимал. У них была своя компания, меня в неё не принимали. Только папу. Я же был для них невидимкой. Но это дома. В нашем военном городке Вазиани меня все замечали — и сослуживцы отца, и соседские мальчишки, и ядовитые офицерские жёны. У меня даже кличка имелась — Лёвка-грузин. Дал мне её Валька Стоцкий. Сосед наш. Дал и укатил с родителями в Южно-Уссурийск, а я так и остался «грузином» для всех. Хотя фамилия у меня на самом деле Петров. Лев Петров. Славку никто грузином не дразнил, уродился он в отца с матерью — русым и белокожим. А я ни в кого. Волосы чёрными кольцами вьются, глаза карие, а кожа — точно с моря вернулся. Жёны офицерские, как будто шёпотом, сплетничали, но так, чтобы я их слышал. Болтали, что мать меня «нагуляла от одного Гиви». Отец тоже слышал. Но молчал, лишь туманил воздух папиросами. Раз только, после Дня Победы, выпил крепко и задвинул им зло, что я в прадеда Тараса пошёл. Одно лицо, мол. Потом на меня не смотрел несколько дней.

Виктория Беляева — прозаик, поэт, историк. Родилась в Ростове-на-Дону. Печаталась в журналах и альманахах. Лауреат литературного конкурса «Молитва»—2022. Рассказ «Нино» написан во время пребывания в Приволжской литературной резиденции АСПИР.

То ли себя, пьяного, стыдился, то ли меня. Но я не сердился на отца. Мне его отчего-то жалко было.

А любил я бродить по базарам. Сосед наш, дядя Жора, частенько по делам на служебной машине гонял в Тбилиси. Полчаса, и там. Он меня для компании брал с собой. Я обожал эти поездки. Пока он из конторы в контору ходил, я мог наслаждаться суетой и красотой Тбилиси. Нырял в шум города. Первым делом, конечно, отправлялся на базар. Там торговцы меня за своего принимали. Обращались на грузинском. И я легко выучил, что следует отвечать. Улыбался, говорил: «Гамарджоба!». А они мне чурчхеллу, козинаки и сушёную хурму протягивали. Вот ведь бывает, чужие, а как свои. И я шёл, очарованный гомоном и красками, уплетал сласти и смотрел на величественный город, который казался очень родным. Мать давала список покупок, и я наполнял сумку, а потом возвращался к машине и ждал дядю Жору. В такие дни я всегда надеялся, что его задержат дела на пару часов, а я буду стоять, жевать лаваш и разглядывать пёстрый поток людей и машин. Иногда именно так и случалось. Дядя Жора выходил и говорил, чтобы я часок-другой погулял ещё. От внезапной радости я летел по бесконечной лестнице к зданию тбилисского цирка. Он был похож на чудесный каменный шатёр. Я взлетал туда, вдыхал воздух счастья, смотрел вниз и чувствовал себя свободным.

А потом я возвращался домой, в школу, где наши и грузинки судачили о моём происхождении. Слушать это было невыносимо, и я представлял, что меня в роддоме перепутала медсестра, потому я и оказался в семье Петровых. Но вдруг, спустя годы, отыскалась та самая настоящая семья. Я выдумывал, как это случилось. Например, медсестру замучила совесть, и она сообщила о подмене моим настоящим родителям. Они бросили все дела, отправились забирать меня. Куда только девать того, другого, что рос у них вместо меня? Да не важно, пусть бы оставался с нами. Не важно и ком бы оказались они, мои настоящие родители, грузины, евреи, русские, молдаване. Пусть бы они просто нашли меня и стали любить за то, что я есть у них. Не за какие-то достижения, а потому что считали своим. Хотя, достижения у меня всё же имелись. Этими достижениями даже получалось зарабатываться на выходных и защищаться от тех, кто гнал меня, как гадкого утёнка, прочь. У дома офицеров я играл на губной гармошке. Гармоника ещё с войны у отца осталася. Папка показал, как играть надо, а я на слух подобрал несколько песен. Затяну: «Выходила на берег Катюша», и в шапке монетки появляются. А полная шапка — это уже состояние. С таким богатством можно и в кино сбегать, и на рынке в Тбилиси от пузза наесться. Только вот такой навар и для шпаны местной был лаком. Делать-то ничего не надо — трухни меня — и вот она, выручка. Потому я быстро бегал и крепко дрался, если уж случались стычки. А они случались. В общем, в секцию бокса я попал из-за хорошего удара. А это, как сказал тренер, — талант.

Как-то пацанва мне разгон устроила. Хотели деньги прикарманить, да ещё и гармошку отобрать. Случись с ней чего — отец уши б оторвал, не иначе. Гармоника-то трофейная. Я тогда успел и Петьку, внука дворничихи наколотить за то, что он меня сыном грузинского народа кликал. Уработал будь здоров. После Ваське, генеральскому сыночку, нос расквасил. Целый день потом в углу кухни на гречке стоял, но прощения просить не стал. Не виноват же. За это моему отцу от Васькиного отца досталось по первое число. Его на учения заслали на две недели. Мне же домашний бойкот объявили, чтоб не позорил семью Петровых. Где там. Следом я с Зурабом и Кахой сцепился. Как раз в день рождения. Мать мне тогда выдала новенькую, перешитую из отцовской формы, рубашку и наглаженные штаны.

Гости же придут. Я, конечно, гулять отправился. Показать всем, что и у меня обмундирование лошёное имеется. Тут во дворе эти двое. Свистят в спину: «Куда намылился, выродок несчастный? Голова резин — не русский и не грузин!» У меня кулаки сами сжались, губу до боли закусил. Показал умникам по чём фунт лиха. Хотя, Каха хорошо наколотить мог. Сильным был и смелым. Просто меня недолюбливал. Так что пришлось драться, чтобы трусом не прослыть. Тут уж было не до рубахи и брюк. Даже ремень от отца и угол с гречкой от матери не пугали. И меня стали дубасить, а я в ответ левой, правой. Втроём по пыли и траве гоняли друг друга. Чем бы дело закончилось — не известно, только тётя Нино выскочила во двор, нас растащила. Всем подзатыльников нашлопала. А мне что — шлёпай не шлёпай, поздно — нос в кровь разбит, рубаха испачкана, на штанах дыра. Домой идти — дураком быть. Говорю: «Хана мне дома!» Тут уж Зурик и Каха посочувствовали. Знали мою мать. Зураб свой платок носовой дал. Белый с вышитым корабликом. Я только рукой махнул от отчаяния. Подумал: «Уплыть бы на этом корабле на необитаемый остров!»

Тётя Нино глянула на меня с прищуром: «Важишили, ну-ка давай ко мне. Починим, почистим тебя. Мать даже и не узнает, что вы такую драку затеяли. Давай, давай, шевелись скорее!» Я спорить не стал. Пожал руки Зурабу и Кахе, попросил не выдавать меня брату и родителям. Кивнули, что не скажут. Пошёл за тёстей Нино. Она этажом ниже жила. Хотя тётя Нино на пожарной станции работала, все от неё подальше держались. Просто она особенной была. Не верила чужим разговорам. Сплетни не слушала, не участвовала в перебранках. Она вообще себе только верила. Ей в войну две похоронки пришло. Одна за другой, на мужа и на сына. Тётки во дворе судачили, что тётя Нино и слезинки не проронила и в первый, и во второй раз. Сказала только почтальонке на известие о смерти сына: «Сон видела, важишили мой вернётся. Он живой, знаю, что живой! А ты больше не ходи ко мне с плохими новостями, не поверю». Народ к Нино с утешениями сунулся. Все соседи и знакомые сочувствовали. Её Георгий добровольцем отправился на фронт, в семнадцать лет. О нём только хорошее говорили и помнили. Тётя Нино всё твердила: «Не хороните Георгия. Он не погиб». Выгоняла людей, ругалась, двери закрывала, потом и вовсе свечки в церквушке за здоровье ставить стала, поминать отказывалась. Вот и сделалась для всех сумасшедшей тёткой. Её так и стали звать что грузины, что русские — двинутая Нино. Я её тоже побаивался. Как не бояться — едешь по перилам, посвистываешь. Она точно из ниоткуда появится, глянет — что ледяной водой окатит. Веселья как не бывало. А тётя Нино и слова не произнесёт. Дверь тихо прикроет, и как не было её, только уже на перила взбираться желания нет. Вот я и старался на глаза ей лишний раз не попадаться. А тут поверил безо всякого. Встал и пошёл хвостом. В подъезде голос Славкин услышал, но Нино быстро дверь открыла, я успел прошмыгнуть незаметно. Заскочил в коридор, замер в полумраке. Почувствовал запах незнакомого дома. Тут и свежесть, и острота, и что-то такое настоящее, будто знакомое, сочное. Как назло, живот заурчал. Тётя Нино двери прикрыла, свет включила и засмеялась:

— Ты голодный чир ои, Лев?

А я замер. Никогда ещё не видел, как она смеётся. Зубы у неё крупные, белые. И на одной щеке ямочка. А глаза не смеются, в душу смотрят:

— Чего затих? Скидывай ботинки, шагай в уборную мыться.

Распахнула двери, и я покорился. Над умывальником овальное зеркало. Глянул в него и ахнул. Нос раздулся, кровь запеклась бордовой коркой, волосы вздыбились слипшимися от пота клоками. На пыльной рубахе тонкой струйкой тянулся след моей

встречи с Зуриком и Кахой. На штаны я даже глядеть не стал. Выдохнул. Включил медный кран, и он зачирикал холодной водой. Я набрал её в ладони и брызнул в лицо, а потом ешё, и ещё раз, пока щёки не перестали чувствовать слёзы. Обернулся на звук шагов. В дверях стояла Нино. Через руку перекинуто полотенце и какие-то вещи, в другой держала чайник:

— Горячая вода здесь. Не успела остыть мадлоба Гмерти. Тебя ждала, наверное. Ну-ка, вот в тазу разведи, чтобы хоть немного тепла было. Освежись, накинь эти вещи, а свои неси мне.

Сказала и ушла, а я принялся мыться. Вода была приятной. В горячие сухие дни такая едва уловимая теплота только в радость, как будто в реку нырнул. Не жарко и не холодно. Я сел в таз, в остатки воды, намылил шею и уши, потянулся. Так мне хорошо стало, так свободно и спокойно. Не хотелось никуда выходить, вот бы сидел и сидел всю жизнь в этом тазу.

Смыл остатки мыльной пены и нырнул в полотенце. Оно было мягким и пахло какой-то терпкой травой и свежим ветром. Я укутался, а затем стал растираться. Накинул вещи, что принесла тётя Нино. Рубаха и штаны были большими и хрустящими от крахмала. Я закатал рукава, сгрёб в охапку свой пыльный нарядец и зашлёпал босиком по чистым деревянным половицам.

Тётя Нино обернулась на скрип половицы и позвала глухим голосом из комнаты:

— Иди сюда, вожишили, поешь, милый, а то в животе концерт зазвучит снова.

Она подошла ко мне, взяла из рук вещи и подтолкнула к столу. Меня уже ждала дымящаяся тарелка харчо, густо посыпанное кинзой. На разделочной доске лежали пури, бадриджани с греческим орехом и сулугуни. В овальной пиале дымилось, щекотало ароматами лобио. От таких чудес и голода закружилась голова.

Я часто слышал эти запахи жгучей и пряной кухни Грузии. Лакомился урывками. И вот теперь они принадлежали только мне. Я жадно, без стеснения, накинулся на острый суп, он жёг губы жирным и горячим бульоном, а я макал в него пури. Обо всём забыл, опомнился лишь тогда, когда услышал смех тёти Нино:

— Геамот, сынок! Люблю тех, кто есть с аппетитом. Я тебе ещё баклажан положу. Мой Георгий тоже ест в удовольствие. Сегодня у него праздник. День ангела. Вот я и наготовила всё, что он любит. Ешь, милый, за его здоровье!

Я облизнул губы и ответил зачем-то:

— А мне сегодня десять лет исполнилось.

Тётя Нино закончила штопать штаны. Положила их на колени, глянула на меня, улыбнулась, на глазах показались слёзы:

— Расти счастливым, сынок. День рождения праздник особый. Небесный. Бог и родители тебе жизнь подарили. Я тебя поздравляю. Будь благословен, милый. Помни своё десятилетие. Мужчиной стал.

Она смахнула слёзы широкой ладонью, а я зачем-то встал из-за стола, не зная, как поступить. Хотел подойти и обнять тёту Нино, но боялся, что она может рассердиться. Мать точно бы рассердилась. К чему эти телячьи нежности, в самом деле. Тётя Нино улыбнулась глазами, протянула руки, и я потянулся в ответ. Она крепко прижала меня к себе, вздохнула, и я почувствовал запах её волос. Они пахли кукурузным хлебом. Тётя Нино коснулась сухими губами моей щеки и сказала:

— Рубаха и штаны как новенькие. Мать ничего не заметит.

Я снянул с себя чужую одежду, спросил:

— Это вещи вашего Георгия?

— Наверное, уже малы ему будут, — кивнула она. — Он теперь мужчина, на шесть лет повзрослел.

Я примерил штаны, сглотнул:

— Вы верите, что он вернётся?

— Я знаю, милый.

— Все тётки считаю вас чудной, странной.

— Плевать мне на них.

— Меня тоже считают странным. Выродком и грузинским сыном.

— Никого не слушай, слушай себя. Сердце у тебя солнечное, Лев. Будь тем, кем хочешь, кем желаешь, а не тем, кем тебя другие считают.

— А если я не знаю, кто я, то кем же мне быть?

— Собой, милый, таким, как сейчас. Ты замечательный.

Я глянул на стену. Два мужских портрета слушали наш разговор.

— Это Лев, — обратилась к ним тётя Нино. — Он к нам теперь ходить будет.

Будешь ведь, мальчик?

— А можно? — пожал я плечами.

— Я тебе ключ дам. Когда тяжело станет, даже если меня не будет, — зайди.

В кладовке висит чурчхелла. Сыр, пури, кинза всегда имеются на кухне. Есть и книги. А если я дома буду, ещё лучше. На крыше не прячься больше, там опасно. Всегда за тебя переживаю.

Я и в самом деле частенько пропадал на крыше. Там отсиживался, чтобы избежать ремня и гречки, когда мать была не в духе. Тётя Нино протянула резной ключ.

Я не решался взять.

— Это будет нашим секретом, — она прикрыла глаза и качнула головой.

— А можно я ключ за кирпич спрячу между этажами? Никто не найдёт.

— Так и сделай.

С того дня я буквально пропадал в доме тёти Нино. Она меня как будто всегда ждала. Оставляла еду на столе в гостиной, накрыв тарелку полотенцем и сверху клала записку: «Вначале мой руки, потом ешь, Лев!»

И я ел, мыл посуду, иногда засыпал в кресле, ожидая её. Отец был всё время в полётах, а когда возвращался, валился от усталости. Мать моего отсутствия и вовсе не замечала, только говорила: «Опять завеешься до вечера? За что ты мне достался, непутёвый?» Но Славка заметил, что я сдружился с Нино, рассказал матери, на меня поглядывая. Она лишь рукой махнула: «Два сапога пара. Притянулись же!» Только я продолжал таиться, как будто боялся, что квартира тёти Нино, вместе с ней, однажды исчезнет из нашего дома. Тогда и я исчез бы, наверное. Да и рассказывать о наших с тётьей Нино разговорах, тёплом смехе, песнях и всяких обычных, но таких важных для меня вещах никому не желал. Как будто это было чем-то настоящим, а настоящее хочется охранять от чужих глаз. Беречь.

Со временем все в округе узнали о нашей с тётьей Нино дружбе. Шила в мешке не утаить. Глядели, но ничего не говорили. Казалось, мы две белые вороны в этом мире, суженном до военного городка. От меня даже как будто отстали сплетники. Словно страх перед тётьей Нино и на меня распространился, накрыл защитным плащом. Мне только того и надо было, чтобы все оставили в покое. В квартире тёти Нино я всегда чувствовал свободу и внутренний покой. Читал книги, мылся в тазу, дремал, фантазировал, рисовал. Много думал. Мне было важно понять, кем же, на самом деле, являюсь. Я нуждался в тёте Нино. По-настоящему, до сердечных спазмов, до нежности в груди ждал наших встреч. Я знал, что её сын — Георгий. А чьим сыном

был я? Однажды отыскал дома в сундуке выцветшую, желтовато-серую фотографию деда Тараса. Он и в правду чем-то напоминал меня. Во всяком случае, тогда мне так показалось. Значит, во мне была кровь моего деда. Тётя Нино говорила, что род всегда бережёт своих. Значит, дед меня берёт. Стало легко от этой ясной мысли. Точно, наконец-то, я нашёл себя. Даже если в семье нет для меня места — не страшно. Ведь оно нашлось в фотографии деда, в сердце тёти Нино. Её солнечная квартира буквально спасла меня. Так, наверное, помогает горящий жёлтой точкой в ночи маяк тем, кто отчаянно бьётся со стихией в сумраке и неизвестности. Маяк просто светит, и нет ничего в мире дороже того спасительного света. Все праздники мы отмечали сперва с тёть Нино. Я забегал к ней на полчаса. Иногда приносил что-то самодельное. Выжженную открытку, букет цветов. Как-то накопил на настоящий газовый шарфик. Я и матери похожий подарил — серебристо-серый, как её глаза. От тёти Нино я получал щедрую порцию любви и конфет, а после шёл к своим. Наполненный покоем и теплом.

Мне стукнуло шестнадцать, когда тётя Нино заболела. Слегла, но отказалась лечиться в больнице. Сказала, что пришёл её черёд отправляться на встречу к роду. Тогда я перебрался к ней. В семье это даже как будто никого не удивило. К тому моменту отец ушёл из семьи. Оставил мать и уехал на Север с какой-то поварихой. Мать устроилась техничкой и почти перестала со мной разговаривать. Иногда она заходила к тёте Нино. Смотрела на неё, молча оставляла продукты, не прощалась. Тётя Нино тихо возражала. Ослабшим голосом гнала меня в школу, во двор, в кино. Но я отчего-то не мог тратить время на эту обыденность. Жизнь моей второй дэды Нино таяла:

— Я всегда буду с тобой, — улыбалась и шептала она. — Ты и моего рода часть. Жаль, Георгия не дождалась.

В конце той осени тётя Нино умерла, оставив мне книги, серебряный крестик и часть души. Её квартира перешла молодой офицерской семье, а я дал себе первое обещание, клятву. Именно это обещание вытягивало меня из трясины и мрака. Именно из-за него я решился на переезд в Москву, продолжение учёбы. Я строил смелые планы и уже не сомневался, что всё получится. Мать не держала, но перед отъездом, узнав, что и Славка отправляется следом за мной к отцу, попыталась отговорить. Но я принял решение, менять которое теперь уже не стал бы. Да и Славка не стал бы оставаться из-за меня. Всё же мать боялась потерять именно его, так что мой отъезд был делом решённым.

Несколько лет я не приезжал домой. Отправлял праздничные открытки, слал посылки, деньги. Но ехать не мог. Казалось, там меня больше никто и ничто не ждёт. Мать редко и однозначно отвечала. Я представлял её лицо и серые глаза, когда она подписывала открытку. «Всего доброго, Лёва. Мама». Странно, но она никогда не называла меня Лёвой в нашей обычной жизни. От того я перечитывал эту фразу с пожеланиями всего доброго и подпись «мама» десятки раз, думая о том, как она важна для меня. Вспоминал, как часто тётя Нино называла меня Лёвой.

Чудо случилось неожиданно. Я трудился над статьёй для газеты. Работа привела меня в военно-политический архив. Если что-то делаешь не раздумывая, искренне веря в удачу, судьба благосклонно кивает головой. Когда я вдруг понял, что скоро смогу исполнить то самое обещание, которое прежде дал себе в память о Нино, сердце забахало в ушах: «Неужели правда?» Я перепроверил бесценные архивные документы дюжину раз. Нет сомнений. Это точно был именно он, Георгий Махарадзе. Сын моей тёти Нино. Дата, место рождения, участие в боях — всё подтверждалось. Тётя Нино была права. Георгий не погиб. Его осудили в 1944 году. За воинское преступление.

Попасть в плен тогда считался изменой. А он попал. Я устроил отпуск и вскоре отправился за Полярный круг, чтобы отыскать Георгия, узнать, почему тётя Нино не получала от него вестей, рассказать о её любви и смерти. Только вот поздно. Георгий уже несколько лет как умер в лагере от тифа. Я был подавлен и огорчён. Но все-таки решил, что смогу помочь тёте Нино и Георгию стать ближе. Преодолев бюрократические перипетии, отыскал могилу Георгия. Помянул его водкой и русским пирогом с северной ягодой. Снежное облако, подгоняемое обжигающим ледяным ветром, плыло мимо.

В газетный кулёк, оставшийся от пирога, я спрёб с могилы промёрзшую землю. Время вернуться в тёплый городок детства настало.

Тбилиси встретил меня тем же шумным разноцветьем, но я уже не желал спешить по бесконечной лестнице на встречу свободе. Я вдохнул город, и острое детское счастье закружило голову и замерло где-то у сердца. Поймал попутку. Разговорчивый водитель повёз меня до Вазиани. Вскоре мы оказались на месте. Водитель не стал брать деньги, его обрадовали сигареты. Я простился и поспешил на кладбище — сегодня день ухода моей тёти Нино. У ворот кладбища я остановился, огляделся, выдохнул. Никого. Шагнул, пытаясь вспомнить место захоронения тёти Нино. Глянул на небо и увидел кружевное облако. Оно как будто синхронно следовало за мной. Прошёлся среди могил, вглядываясь в надписи. Безуспешно. Вдали я увидел чей-то силуэт. Решил подойти и попытать своё счастье снова. Может быть, этот человек знает, где могила тёти Нино? Ускорил шаг и через пару минут поравнялся с человеком у могилы. Это была пожилая женщина.

— Здравствуйте. Простите, а вы случайно не местная, не подскажите, где здесь могила Нино Махарадзе?

Женщина вздрогнула, обернулась.

— Здравствуй, Лев! — серые глаза смотрели с нежность, они светились. — Здесь она спит, Нино твоя.

Я оторопел, опустил глаза на табличку. Машинально достал пакет с землёй с могилы Георгия. Высыпал на разрыхлённую землю.

— Мама, а ты здесь как?

— Ну как. Не чужие ведь, — помянуть пришла.

В горле пересохло. Лицо загорелось, точно от пощёчины. Я стал ловить воздух, но не мог надышаться. Ветер резко взывал, нарушил тишину. И я пояснил:

— Землю с могилы Георгия привёз. К ней. Чтоб вместе. Он в Заполярье, в лагере умер.

— Это хорошо, — кивнула мать. — Это правильно. Пусть вместе спят.

Потом коснулась тыльной стороной ладони уголка глаза, сглотнула.

— Брат он твой.

— Кто?

— Георгий твой брат. Отец у вас один, Лёва.

В голове остро запульсировала боль. Я поднял к небу глаза, чтобы удержать слёзы.

— Нино знала?

— Знала, конечно.

Я посмотрел на мать. Она показалась мне очень маленькой и одинокой. В её серых глазах я увидел своё отражение. Подошёл и крепко обнял её так, как всегда хотел обнять. Она уткнулась в моё плечо, старенькая девочка.

— Прости меня, сынок.

Игорь Малышев

Свет в конце

Рассказы

Кот, снайпер, лето и Азовское море

— А ты говоришь, купаться... — начал он свой рассказ.

Из тех, что я знал, это был первый и последний кот, который любил воду.

Официально «Азовсталь» сдалась двадцатого мая. А неофициально...

Неофициально там ещё долго какая-то чертовщина происходила.

Июнь. Море прохладное, но купаться можно. Солнце жарит. Небо чистое, как лёд. Синее...

Я посадил кота на плечо и отправился к морю. Береговую полосу к тому времени уже разминировали. Шёл не боясь.

На пляже совсем пусто. Как в первый день творения. Волны бьются о берег тюленями. Хотя какие тюлени? Я их и не видел-то ни разу. Для красного словца вставил. Волны, тишина. Город после боёв пустой, полумёртвый. И тишина над ним висит, звеня, как спираль электрической лампочки. Летняя, раскалённая добела.

Между мной и «Азовсталью» остатки деревянной стены. То ли пункт спасательный тут раньше был, то ли кафе. А может, гидроциклы в аренду сдавали.

Кот усёлся на песок и поглядел на меня требовательно, по-пацански сурово.

— Иди, купайся, — сказал я и, раздевшись догола — всё равно рядом никого нет, — пошёл к морю.

Тело белое, как молоко. Только руки да рожа загорели. Смешной загар. Я бы рассмеялся, если бы увидел. Но никто, кроме кота, меня не видел. А кто знает, что кажется смешным коту?

Я зашёл в море по пояс и снова позвал рыжего. Он неохотно поднялся, вошёл в прибой и поплыл ко мне. Плыл с какой-то странной смесью отвращения и удовольствия. Розовый нос его от противоречивых чувств сморщился и стал ещё более розовым.

Малышев Игорь Александрович — прозаик, драматург, поэт. Родился в 1972 году в Приморском крае. Получил высшее техническое образование. Работает инженером на атомном предприятии. Печатался в журналах «Новый мир» и «Дружба народов». Автор восьми книг прозы и нескольких пьес. Финалист ряда литературных премий. Живёт в Ногинске. Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 8.

Доплыл. Я взял его на руки. Умный рыжий, не выпуская когтей, устроился у меня на груди и оглядывал море теперь уже деловито и почти по-хозяйски.

Я сделал несколько шагов на глубину. Азовское море плескалось, толкало меня в грудь тюлеными ластами... (Опять эти тюлени. В Азовском море нет тюленей, и я не знаю, как они толкаются.) Кот, у которого мокрая шерсть на спине и боках ярко контрастировала с сухой на голове и морде, притих у меня на руках.

— Вот это море, оно твоё, — засем-то сказал я коту.

Нет, я знал, что он не ответит мне «так точно, товарищ лейтенант», но отчего-то внутренне был готов к этому. Так бывает. Не веришь в чудеса, но готов к ним. На войне это бывает чаще, чем в миру.

Когда мы выходили из моря, кот внезапно вцепился когтями мне в грудь, я дёрнулся, и пуля, оставив на моём боку жирную, будто прочерченную красным маркером, царапину, ушла в воду.

Не могу сказать, что произошло раньше, но, по-моему, пуля начала чертить свой след по моим ребрам, когда я уже откidyвал от себя зашипевшего, со вставшей на загривке шерстью рыжего зверя.

Кот упал в воду, я бросился к остаткам деревянного строения. Спотыкаясь и падая, добежал и рухнул на песок, торопливо оглядываясь по сторонам. Нет, я знал, откуда прилетела пуля. С «Азовстали». И белый след в воде, который я успел заметить, говорил об этом лучше, чем любая экспертиза, проведённая высоколобыми баллистиками.

А кот плыл. На морде его снова проявилось то странное брезгливо-довольное выражение, возникающее всякий раз, когда он входил в воду.

Кота не прикрывали остатки лодочной станции. Он плыл по открытой воде под большим, красивым, как лёд, небом и был совсем-совсем один.

Каким-то шестым, седьмым, двадцать первым чувством я знал, что тот, кто стрелял в меня, сейчас тоже смотрит, как погруженный в азовские волны кот перебирает лапами и топорщит белые усы. Я почти видел сетку прицела снайперской винтовки, все те чёрточки, что помогают снайперу поражать цель, делая поправку на ветер и расстояние.

— Плыви, котя, — прошептал я, не отрывая глаз от рыжего.

Тот вышел из прибоя, встряхнулся. Уселился на скинутые мной штаны и принялся вылизываться.

Небо проливало на нас свой молодой июньский жар. Кот вылизывался. Я лежал возле стены. По берегу шарил прицел снайпера.

По городу ходила легенда, что после сдачи «Азовстали» там остались демоны, бывшие с полком «Азов» с момента основания, и все те выстрелы из ниоткуда, внезапные взрывы — дело их рук.

Я не верил. Я знал, что снайпер так же реален, как я, как море, как кот.

Рыжий вылизал один бок, принялся за другой.

Его движения, размеренные, как ход маятника, успокоили меня. Я уронил голову на песок, стал смотреть в небо. Играли песком, иногда кидал его в сторону кота, зная, что это видят засевший в дебрях «Азовстали» реальный и тем похожий на меня и на кота снайпер. Видит и думает, выстрелить в кота или нет. Возможно, ему жаль патронов. Возможно, он боится выдать себя. Хотя, может, он давно уже спустился в бесконечный лабиринт подвалов комбината и бродит там, будто минотавр. Проигравший всё, что можно, озлобленный минотавр.

Но, скорее всего, он всё ещё следит за мной и котом.

Я закрыл глаза. Море что-то рассказывало само себе. Морю всегда есть, что рассказать. Солнце плотоядно вцепилось в мою белую кожу. Возможно, мне стоило перевернуться, чтобы не обгореть, но было лень.

Говорят, что мгновения покоя мы впервые узнали в материнской утробе, где было тепло, мокро и уютно. Именно так бывает со взрослым человеком на море. Приключится ли со мной когда-нибудь ещё такой покой, что я узнал тогда?.. Я, кот, море, снайпер. Я, море, снайпер, небо, солнце, кот. Я, солнце, море, снайпер, кот. Я — кот... Я — снайпер... Я — солнце... Я — небо... Я — море...

Всё застыло и погрузилось в янтарь. Всё было правильно и неправильно, красиво и безобразно,ечно и сиюминутно, страшно и жизнеутверждающее.

И смерть как прозрение, и жизнь как дар. Снайпера, безусловно, надо убить, но без него этот мир разрушился бы точно так же, как разрушился бы без неба, моря или кота. Мы в странном и жестоком единстве, которое не разорвать, не разрушив всё вокруг.

Всё плыло куда-то — наверное, в будущее, потому что плыть больше некуда.

На всём — на мне, на коте, даже на море и солнце — лежали штрихи снайперского прицела, и все мы, кроме, может быть, кота, коты уверены, что бессмертны, знали, что всё не навсегда, знали, что кончатся и море, и небо, и снайпер.

Но что-то останется. Обязательно. То, что аккуратно помещается между солнцем и морем, мной, песком, чёрточками прицела и мгновениями тишины между двух волн, выбросившихся на берег.

Подсолнух

Не скажу, что я был жестоким ребёнком. Нет, ко мне мир был гораздо чаще жестоким, нежели я к кому-то из его представителей. Но я бывал жесток. Как и все дети, впрочем. У каждого, наверное, есть воспоминание из детства, к которому возвращаешься с тем болезненным влечением, с каким выдавливаешь прыщи на лице или расковыриваешь подсохшие болячки. Болезненно, неприятно, знаешь, что завтра всё будет выглядеть хуже, чем сейчас, и тем не менее выдавливаешь и ковыряешь.

Однажды — по крайней мере, мне кажется, что это было только однажды, — мы с приятелем мучали лягушек. Мелких, это были скорее невинные лягушата, чем лягушки. Отчёлтико помню, как мы играли ими в хоккей на рулоониде. Знаете, таком, усыпанном мелкими камешками. Ещё помню, как распял лягушонка на кресте из веточек и бегал за сёстрами, требуя, чтобы они целовали распятие.

Жутко, жутко...

Наверное, стоило бы сходить в церковь и покаяться, но я не хожу в церковь.

Недавно выяснилось, что тяга к жестоким экспериментам не утихла во мне.

Я живу один в двухкомнатной квартире. По сути, для жизни мне достаточно одной комнаты, во вторую я захожу редко, как правило, случайно и, как правило, всегда замираю, не в силах объяснить себе, зачем сюда попал.

На днях я купил плотную, совершенно непрозрачную ткань и заделал ею окно в этой необитаемой комнате. Заделал наглухо, чтоб ни один луч не проникал снаружи.

Потом выкопал за городом подсолнух. Совсем молодой, даже вид у него был какой-то наивный и глуповатый. Я посадил его в большой горшок, удобрил, хорошо поливал, чтобы он чувствовал себя здесь как дома. И он, собственно, именно так себя и чувствовал. Рос, поворачивал головёнку вслед за путешествующим за оконным

Валерия Крутова

Одноразовый петух

Рассказы

Он стоит. Она идёт

По заплёванному полу лифта дуло. Откуда бы... У меня не было с собой ничего подходящего — положить под спину, поэтому я просто старалась не замечать. Что-то типа «он терпел и нам велел». Лифт стоял, терпел, велел, а с его потолка чёрным маркером капало «нет войне». Кто-то писал это, встав, наверное, на плечи соседу, пока лифт ехал. Может, и маркер одолжил этот кто-то. Надпись была размашистая, линии дрожали, а галочка над буквой «и» немного съехала вниз — лифт тормознул.

Я лежала на спине, ждала техника, курила электронную сигарету, которая абсолютно точно отнимала мои безопасные минуты в лифте, и взглядом повторяла движения маркера. Один, два, три. Сколько раз я уже мысленно повторила «войну», наверное, столько же, сколько она повторяется в мире. Мир, лифт. Война. Идёт. Стоит. Я лежу. И губы у меня выкрашены в фиолетовый.

Я собиралась долго — пусть каждый попробует накраситься фиолетовым, а затем быстро нанести толстый слой серебристого глиттера сверху. Не выйдет. И никто не уйдёт, пока не выйдет. И она идёт. А лифт стоит. Глиттер вообще отдельная тема... у меня кончился специальный клей для него, поэтому я нанесла на губы интимную смазку. Глиттер на ней хорошо держится. Не-то-что-я.

Серебристое платье — в тон. Открытая спина, декольте и длинная многослойная юбка. Кстати, её же можно подвернуть под себя, тогда не будет так дуть. Хотя... он же велел? Ладно. Я выдохнула, и надпись заволокло дымом. Мне не разрешали курить — сначала мама, потом парень, потом ещё один. Словно у них у всех был абонемент на беспрепятственное вхождение в чужую жизнь. В чужой смысл этой жизни. Лучше бы они умели запрещать стрелять, убивать — не себя сигаретой, — а других своим абонементом. Лучше бы они писали в лифтах. Ну... или писали. Боже, храни омографы и двойные смыслы. Как бы то ни было, мама ушла, те два парня — тоже, а я осталась. Остановилась. И лифт встал. И сейчас я не еду на собственную свадьбу. Мы расписались позавчера, а сегодня в кафе у дома решили устроить праздник для своих. Свежий муж,

Валерия Крутова (Макеева Валерия Валерьевна) родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахстан). Автор книги рассказов «Наверность» (Дактиль, 2023). Живёт в Алма-Ате.
Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 2.

наверняка, там. Ждёт, стоит, курит. И лифт стоит. А она идёт — и свадьба, и война. И попробуй разберись.

Я-то лежу, и глиттер медленно слезает с губ вместе со смазкой и остаётся на сигарете. И мне очень-очень неудобно. И лежать, и думать тоже. Ведь она идёт, а я лежу. А он стоит. Ничего не делает. Она идёт, а техник — нет, хотя обещал вот-вот явиться. Явясь уже, спаси меня. Спаси всех нас. Пусть она остановится. И я снова буду свободно лежать на полу и читать о том, что Коля и Толя навсегда. Потому что будет написано, потому что так можно будет писать. А сейчас нельзя.

Серебристое платье пахнет Жадор. Диор. Я обо. Обожаю — дым снова устремляется вверх. Обожаю запах или силуэт флакона? Он похож на определённый прибор, с которым приличная женщина не должна себя ассоциировать. Но делает это, пока никто не видит. Поэтому каждая приличная женщина носит в косметичке интимную смазку. Для глиттера. Он хорошо держится на ней и на губах. А сама женщина — плохо.

Спина затекла. Рука устала курить. Горло сдавило спазмом. В лифте всё меньше воздуха — всё больше беспомощности. И надпись с потолка стекает уже кровью из глаз. Лифт стоит. Она идёт. Я сижу. Муж ждёт. Мне нет дела. Я закрою глаза и выдохну воздух с сигаретой вместе, выплюну все свои мечты и останусь тут, под стекающей надписью. Или придёт техник. Он идёт, наверняка. Она идёт, абсолютно точно. И она ни мне, ни мужу не нужна.

Через три секунды двери лифта разъехались:

— Ну-ну, не плачьте. Вы чего? — заботливый, очень заботливый техник. — На праздник едете?

— На свадьбу. Муж стоит. Она идёт. А телефон забыла...

Зайди. И выйди потом

Эти деревья, которые нас окружают сейчас, не помогают совсем. Они прямые, ровные и смелые. Смотрят вверх, и плевать им, что там внизу. А внизу я, никак не могу высказать, что думаю. Не могу для себя даже сформулировать, что переполняет и держит в напряжении. Ужасающее напряжение от непонимания ситуации. И успокаивающая равнина за окном, сплошь утыканная соснами, — никакого от неё толку.

Я смотрю на тебя, хочу сказать что-то. И не могу, словно ты далеко, хотя рядом был вот позавчера буквально. И я снова хочу этого «рядом», снова хочу. А ты заходишь и говоришь: «Ну всё, мне пора». Зачем заходил?

Зайди и выйди. И не заходи больше. Или стой, зайди. Потом выйди, потом, когда я захочу этого. Может, и не захочу, ты тогда не выходи. Или нет, зайди и сам по себе больше не выходи, несмотря на то, хочу я этого или нет.

Или вообще не заходи никогда.

В этой комнате страшно одной, на самом деле. Но мне хорошо в страхе, я тут привыкла. Понимаешь? Не там, а тут.

И на улице темень — какая же она красивая. Особенно когда снег идёт. Помнишь, он шёл? Всегда вокруг нас шёл и не уходил, как ты. Правда, лежал недолго всегда. Как так получается? Снег так долго идёт, а потом исчезает, будто не было его и я всё придумала.

Я всё придумала, правда. И улыбки эти, и глаза, и взгляды, и мурашки по коже. Выдумала и поверила сама. И нет бы дверь тебе не открывать. Я открываю и открываю.

Птица поёт всегда, та, у дома которая живёт. То есть я думаю, что она одна, может, и разные поют. Но она всегда поёт, когда идёт снег. И когда ты приходишь. Она даже летом поёт, когда ты приходишь. И снег даже летом идёт просто потому, что ты потом выходишь. И дверью хлопаешь. Или я хлопаю. Не помню.

Ты говоришь: ну всё, я пошёл. А я равнодушно: окей. Иди. И хлопаю тебе в спину звуком выстрела. А выстрел этот — в меня попадает. Да боже мой, не уходи, а! И грудь болит, я даже думаю, что лопнет, потому что сердце сразу набухает от возмущения. Презрения к себе за слабость и трусость. И вот, вроде бы взрослые люди, женаты даже, как большие, как деревья. Ветками переплелись, корнями тоже. А стволы на расстоянии и не тянутся друг к другу уже, потому что сами прекрасно могут выстоять. Деревьям поддержка не нужна. Да к чёрту этот толстый ствол, если он означает, что я лишена желания чувствовать тебя.

Не уходи, а. Ну или вернись потом сразу. Не потом, когда время настанет, а сразу, вроде как зря ушёл. Со словами какими-нибудь глупыми. С поцелуями своими. Да хоть с конфетками или вином, не знаю уж, где ты их так быстро возьмёшь. А можешь просто вернуться и сесть, будто не уходил, и кино включить.

В этой комнате тогда перестанет быть страшно. Разве что я буду переживать, что ты снова уйдёшь. Но если ты очень долго будешь сидеть и смотреть на меня этими глазами своими, тогда я перестану бояться. Привыкну, стволом потянусь, сломаю пару веток, конечно же, тресну, может, в паре мест, но перестану быть одна.

Потом ты сходишь на кухню за чаем или поесть принести. Поешь там сам, может, потому что я на ночь не ем. Может, и нет, ты ведь тоже соблюдаешь режим питания. Ну ладно, в крайнем случае воды выпьешь. Если будешь пить, принеси и мне. У меня совсем пересохло горло. И я сама вся уже высохла.

Я однажды уронила за окно цветок в горшке. Уронила и поленилась идти поднимать, а он лежал там месяцев девять где-то. Сначала в жаре изнуряющей, потом дождь на него лил безостановочно, потом снег пошёл. Пошёл и не вышел никуда. А лежал, лежал, я вся льдом покрывалась. А потом весна пришла, и я стала мыть окна. Встала на подоконник, вывалилась вся из окна, чтобы стёкла с обратной стороны помыть, и увидела горшок этот — вспомнила. Он весь грязный был, треснул сбоку, и из земли торчали жёлтые сухие листья длинные. Тонкие, свернулись аж от смерти своей. И один маленький внутри где-то зеленел. Ему там очень сложно было, но он зеленел. Теперь смотри какой вымахал цветок, я пересаживать не успеваю. Тогда подняла его, наконец, обрезала всё сухое, ложкой столовой землю прикопала чуть-чуть и на подоконник поставила. А окно тогда так и не-domыла.

Говорят, что в доме, где есть любовь, хорошо цветут растения. Мои растения — словно в насмешку цветут. Или, может, любовь так и выглядит? Может, любовь это и есть — ушёл-пришёл-поел-в магазин сходил-обсудил, что на ужин-отвернулся-уснул? Вот бы так и было, тогда я бы успокоилась и отпустила бы тебя. Ушёл и ушёл. Пришёл, ну и хорошо. А лучше не надо. Вот так бы я думала, если бы знала, что всё под контролем.

Но ты бесконтрольный, как чёрт. Ты тёмный,ластный и грубый. И застенчивый, когда мы не касаемся друг друга, как это выходит у тебя, слушай?

И как это выходит у меня, слышать всё это в тебе, знать всё это и не уметь быть рядом, делать тебя рядом. Не уметь смотреть на тебя так, чтобы ты не уходил.

Я ложусь в постель и жду утра. Ты знаешь, как бы ни было плохо, главное дожить до солнца. Вот я и живу.

Одноразовый петух

У нас в соседнем доме бойцовых петухов разводили. Я, бывало, подтаскивала к забору ящик, вставала на него и наблюдала, пока меня не шутнёт кто. Эти петухи — настоящие воины, они совсем не похожи на еду. Хотелось протянуть руку и проверить, сколько пальцев за раз можно отхватить этим жутким, кажется, чуть ли не бетонным клювом.

Хозяин этих петухов, дядя Шавкат, говорил, когда меня видел:

— Э-э-эй, соседская девочка, иди отсюда, не надо тебе сюда смотреть.

— Дядь Шавкат, ну интересно же. — Я отвечала, даже не оборачивалась к нему. Смотрела, как пара петухов ходят по кругу друг перед другом. Смотрят спокойно, незадиристо, их движения плавные всегда, чёткие. И шагают так... вроде мягко, а кажется, что земля дрожит. Это всё энергия их. Она вызывала уважение и зависть. И ещё — я дышала через раз, когда наблюдала за ними.

— Дядь Шавкат! — позвала я, не отрывая взгляда от петухов.

— А? — раздражённо откликнулся он и выпрямился. Подметал в этот момент.

— А ваши петухи могут влюбиться?

— В кого это?! — кажется, я его удивила.

— Ну как... в кого. В курочек.

— Бойцовские петухи, а мои — лари — любят только драться! — дядь Шавкат нежно глянул в сторону своих лари.

Оба лари были крупными. Один с красной холкой, даже рыжей, а второй — будто в чёрно-белую крапинку. Шеи крупные, длинные. Длиннее даже самого туловища. И лапы. Лапы тоже длинные. Красивые, величественные, воинственные птицы. Как они могли такие появиться без любви?

Я тогда ничего дядь Шавкату не ответила, потому что мама позвала обедать. Куриный бульон — мой любимый. Мама говорила, что несушка лучше всего подходит для наваристого супа, она жиличная или типа того.

— Мам, а давай петуха заведём, как у дядь Шавката?

— Тыфу ты. Глупости эти оставь! Нечего нам этих одноразовых петухов заводить. У соседа, знаешь, сколько их уже перемёрло?

— Сколько?

Мама отмахнулась и сёрбнула суп. Я посмотрела в тарелку. Жёлтый, с масляной, переливающейся на солнце плёнкой, бульон, маленькие иголки укропа на поверхности и морковка в виде цветка — лапша всегда уходит ко дну, и чтобы загрести её ложкой, надо предварительно перемешать суп.

— Что ты там выглядываешь? Петух не вылезет, ешь давай, остынет. — И снова сёрбнула.

— Мам? — я взбаламутила суп и зачерпнула с лапшой, проследив, как несколько штук всё-таки выскользнули из ложки. Не уместились.

— А?

— А у дядь Шавката жена есть?

Мама задумалась. Глаза подняла к потолку, вспоминала словно.

— Нет, кажется. Всегда он только или сам драться или петухами драться любил.

— Петухами он не только драться. Он их самих очень любит.

— Ну, знаешь. Когда любишь, не будешь отправлять на смерть. Они, знаешь, как друг друга клюют. Фу!

Мама отодвинула тарелку и сморшилась. Наверное, я испортила ей аппетит.

Один петух, рассказывал дядь Шавкат, «кружастый» — он не нападает, а кружит вокруг, выматывает соперника.

Бот мне мама всегда говорит, что я вертлявая и кружастая, как тот петух. Так егозю, что выматываю всю голову и нервы тоже.

Как-то вечером я разыскала ящик, который вечно пропадал из-под забора, встала на него и заглянула к соседям.

— А, соседская девочка, — махнул рукой дядь Шавкат, увидев меня.

— Здравствуйте. Как дела?

— Чо, снова? Посмотреть пришла? Ты вот, соседская девочка, на ангела похожа, — проворчал дядь Шавкат. Видимо, так сказал, потому что у меня волосы кудрявые и светлые. И глаза зелёные. — Был у меня как-то малаец, у него крылья были цвета твоих глаз.

Он помолчал чуток, потом внимательно посмотрел на меня и добавил:

— Чуть темнее, хотя. Или это потому что вечер.

— Вы грустный, дядь Шавкат. Кажется.

— Я грустный, а ты наглая. Говорил сколько раз, не лазий сюда. Чо смотреть тут?

И он вздохнул. Щёлкнул пачкой, из той выскоцила сигарета прямо в рот ему. Он ловко хапнул её губами и достал спички. Но не подкурил.

— Простите меня, пожалуйста, — я вздохнула. Ну а что ещё скажешь. Я и сама не знаю, чего таскаюсь к нему. Уже ролики на ютубе с боями пересмотрела все. На каналы подписалась, а всё хожу к забору и хожу. И когда смотрю, чувствую что-то. Сильное. То, что мне очень нравится.

— Ай, — он наконец-то чиркнул спичкой и затянулся. — Вот ты спрашивала про любовь. Она, знаешь, что делает? Всё портит. Вон, лари один ходит. Видишь?

Я посмотрела на загон. Петуха в крапинку не было. Ходил только рыжий. Кружастый который. К спине был привязан какой-то мешок — груз, — поэтому петух ходил согнувшись.

— А где лари в крапинку?

— А сдох, — как-то очень спокойно ответил дядь Шавкат. — Сегодня во время боя.

— Ну, бывает. А любовь тут при чём?

— А я его жалел. Не тренировал достаточно. Не гонял. Вот он форму и потерял. Он мне достался нечаянно, друг отдал полуодолого после первого боя. Сказал — говно птица. Не выдержит больше. Я забрал, выходил и тренировать начал. И он столько медалей взял, даже представить себе не можешь. Тот друг даже выкупить хотел, за большие деньги, между прочим. Надо было отдать. Ай...

— Дядь Шавкат, я это... соболезную. Вам.

— Ага. Нормально, соседская девочка. Нормально всё.

Я что-то хотела ещё сказать. То есть не хотела, я думала, что обязательно нужно что-то сказать. Но дядь Шавкат встал и пошёл к своему рыжему лари, отвязал груз и сунул в колесо.

— Теперь бегать, пока силы не иссякнут, — прокомментировал он свои действия.

Петух побежал. Я смотрела, как он двигается. Иногда он останавливался, но потом снова продолжал движение. Лапы — или ноги? — подрагивали в какой-то момент, а головой вертел туда-сюда, словно удивлялся «что я делаю?».

— Дядь Шавкат, пока он бежит. Он живой, да? Получается. Пока тренируется, есть все шансы победить. Да?

Но соседа уже во дворе не было. Он потом только через пару часов вернулся, чтобы вытащить из колеса обессилевшего и нелюбимого лари, который принесёт ему ещё много медалей и денег.

Игорь Касько

Эра нелюбови

* * *

Мы — староверы вечной мерзлоты.
Мы — мамонты с душою нараспашку.
На нас давно стоят везде «растяжки».
Со смертью мы давно уже «на ты».

Нас учат выживать, смотреть вперёд.
Мы — вестники, трубящие о прошлом.
Мы — дети, что не приняты во взрослом
и страшном мире. Маленький народ,

бредущий вдоль витрин, где прячут счастье.
Слова любви разобраны на части:
на префиксы и прочие иксы.
«Куда идут старинные часы?»

Мы верим в то, что склынут времена
неверия в добро, любовь и верность.
Сложившие когда-то слово ВЕЧНОСТЬ
стоят стеной. Иные племена

давно живут в оставленных домах.
Молчат кукушки городских окраин.
Мы — староверы.
Бог — седой монах.
А мир — прощённый Каин.

Игорь Касько — поэт, переводчик. Автор четырёх книг стихов и публикаций в журналах «Дружба народов», «Крещатик», «Юность», «Плавучий мост» и др. Один из основателей литературной группы «Кавказская ссылка». Живёт в Ставрополе.

* * *

Когда в мир спускается темнота,
я смотрю в глаза моего кота.
Кот мой чёрен, как смоль в нутряной ночи,
но глаза его — солнечные лучи.
И в кошачьей душе его тёплый свет,
силы длящий, когда уже мочи нет
и когда в глазах моих пустота.
Я смотрю в глаза моего кота,
когда жизнь собачья и нету сна,
когда смерть и на миру не красна.

Кот не знает, что жизнь у меня одна,
а за стенкой громко храпит война.

* * *

Нераспаханное небо
замело вчерашним снегом,
от мороза посиневшим,
превратившимся в слюду,
сквозь которую не светит
ничего на этом свете,
а на том — застекленевшем —
рыбы плавают в пруду.

Рыбы режут плавниками
то, что создано веками,
то, что жило не тужило
сотни зим и сотни лет.
А потом немыми ртами
с голубыми языками
тянут воду, словно жилы,
из скончавшихся комет.

Звёзды прячутся на ёлках
от небесных рыб в иголках,
что не колются никаким,
потому что мир — любовь.
Здесь, в божественной юдоли,
и свободе, и любви
место есть, не только боли.
В это верит здесь любой.

В небе зимнем,
в небе синем,
без любви невыносимо.

* * *

Я — рыба. Я молча люблю и живу.
 Я в светлое завтра упрямо плыву.
 Порогами брюхо побито.
 Я — рыба, что ищет истоки реки.
 Там чистые бьют из земли родники
 и травы под цвет малахита.

Мои плавники истончает вода.
 Волна за волною проходят года.
 И звёзды плывут надо мною.
 Опасен и труден извилистый путь.
 Нельзя ни залечь, ни назад повернуть —
 добраться любою ценою.

Я — рыба, плывущая вверх по реке.
 Гуляет блесной расписной вдалеке
 пузатое важное солнце.
 Срываются снег. Замерзает река.
 Сияет улыбкой лицо рыбака
 над лункой-оконцем.

Я жабрами воздух холодный ловлю.
 Я жизнь до последнего вздоха люблю,
 прощая ей сущность земную.
 Мне снится, что я одинокий рыбак.
 И вижу снежинки спускаются, как
 ангелы с неба, за мною.

* * *

Я вышел на берег, где камни печальны.
 Здесь запах нездешний. Здесь запах прощальный.
 В руках у тумана река трепетала.
 И будто бы вечность над речкой летала.

Светало. И хватка тумана слабела.
 Река отливалась то синим, то белым.
 Вдруг берег второй показался знакомым.
 Там матушка вышла из нашего дома.

Отец собирался пойти на рыбалку.
 Там белая кошка дразнила собаку.
 Из окон звучала «Червоная рута».
 Кукушка дарила бессмертье кому-то.

Я плакал от счастья во сне, понимая,
 что видел кусочек из прошлого рая.

* * *

В молчании моём такая боль,
 что лучше вам не знать об этой боли.
 Мы все сошли с ума...
 Убив любовь,
 мы провалились в эру нелюбови.
 Будь проклят век, в котором человек —
 не брат, не друг, а тварь страшнее зверя.
 Кровавый след не заметает снег.
 Надежды нет.
 Осталась только вера.

Маргарита Гетман



Длинный список моих огорчений

Повесть

1

Полина стыдилась своей семьи и почти ничего не рассказывала о ней Серёже. И стыдилась этого стыда, может, ещё больше, чем самих родителей. Ведь всегда учили: маму и папу не выбирают, какие есть, таких и надо любить, они тебе жизнь подарили, а ты... надо быть благодарным. Полина верила, что любит, и за жизнь тоже была благодарна, а въедливый стыд всё равно никуда не деть. А что она могла ему рассказать? Такие семейные истории обычно скрывают до тех пор, пока могут скрывать. У Серёжи семья образцово-показательная, не то что у неё: ужас один, вечно у них всё сикось-накось, не как у людей.

Но расстояние слаживает некоторые острые углы, и у Полины иногда щемит сердце, его будто прокалывают насквозь иголки — тоска по родительскому дому. Она говорит себе, что это ловушка, и вспоминает, как родители живут, вспоминает свой родной убогий город, где не осталось ничего, кроме пивных, аптек и шахт, вспоминает пыль на полках старого серванта в общей комнате, вспоминает ряды бутылок из-под водки, которые отец складирует в кухонной мойке, и тоска понемногу отступает.

Серёжа как чувствовал и не расспрашивал. Догадывался: не всё там гладко у неё в семье, но и ничего такого. Полина же звонила матери, изредка общалась с отцом. У неё ещё был брат, но про него Серёжа толком не знал и не интересовался. «Как у твоих дела?» — бывало, спрашивал ради приличия. «Всё нормально, работают», — будто нехотя говорила Полина, и Серёжа прибавлял, чтоб в следующий раз обязательно передавала им привет от него. «Тебе тоже передают».

Они жили вместе три с небольшим года, за это время Серёжа ни разу не видел родственников Полины — только на фотографиях. Летала она к родителям всегда одна, обычно в мае, Серёжу с собой не звала. Говорила: «Что тебе там делать, в нашей

Гетман Маргарита Алексеевна родилась в 1992 году в Кемеровской области. Историк по образованию, окончила аспирантуру Томского государственного университета. Работала корреспондентом и редактором в СМИ, учителем истории, преподавателем английского языка. Имеет научные публикации в академических журналах. Победительница Всероссийской литературной мастерской «Мир литературы. Новое поколение» (Москва, 2022), участница проекта Мастерские АСПИР. Живёт в Томске.

сибирской глухи, я ещё маме буду на огороде помогать, нет-нет, давай как-нибудь потом».

Слушать рассказы про Сибирь Серёже было не очень интересно, может, потому, что Полина скучно рассказывала. «Серёж, ну жопа мира, ты не представляешь даже», — этим Полина и ограничивалась. История про то, как она из этой жопы вырвалась, Серёже надоела ещё в первый год знакомства: Полина переиначивала её на разные лады, но всегда говорила одно и то же. Ещё она говорила: «Ты не знаешь, что такое вырасти в маленьком провинциальном городе. Для тебя само собой разумеется ездить в метро, ходить по выходным в музеи с бабушкой, а я всё это только на картинках видела: и метро, и музеи, и картины — довольствовалась репродукциями. Что у нас было? Маршрутки-пазики, терраиум, куда я в семь лет пошла смотреть на замученных ящериц и крокодилов, — я не очень хотела, но больше некуда». И да, он, конечно, не поймёт, он же из большого города, всегда тут жил, он из совсем другого мира. Рассказы Полины иногда казались ему просто нытьём. Он был уверен, что всё не так плохо и она преувеличивает. Ему вообще не нравилось, какой изображают провинцию: серой, тоскливой, безнадёжной, с алкоголиками и покосившимися заборами. И создают этот образ кто? Бывшие провинциалы, такие как Полина. Ему казалось странным, что Полина, в которой не было ничего провинциального, так отзыается о месте, где она выросла. Это нечестно. И она как будто бы ещё ставит Серёже в вину, что он не приезжий, что ему не нужно было ассимилироваться и прятать свою провинциальность.

Для Полины мимикрия — вопрос самоуважения. Иногда она подолгу рассматривала своё лицо в зеркале, находила в этом бледно-веснушчатом ландшафте папу и всю отцовскую линию разом, в глазах — немного бабушки, но больше всего здесь было мамы, она оказывалась повсюду, а себя Полина не видела и злилась. «Только бы не стать как они, я не как они, я — это я».

2

В квартире Серёжи и Полины повсюду стояли коробки, туда сложили книги и всё твёрдое и плоское, в большие пакеты — всё мягкое и тканевое, ходили и спотыкались, но переезд — это всегда неудобно, и когда натыкаешься на что-нибудь вроде ненужное, но вдруг пригодится, то и не знаешь, забрать с собой или уже выбросить. Таков путь сибирской миграции: всё западнее и западнее по стране, пока не упрёшься в одну из столиц. У Серёжи вообще выбора не было, ведь он и так считай что столичный: только Москва. Туда он и собрался, а Полина согласилась. «Ну куда ещё?» — вздыхал он обречённо; и она тоже верила: в самом деле, больше некуда податься в огромной стране. Серёжа всё давно распланировал. Он знал, какая у них будет квартира, он уже почти договорился о работе, он жил этим переездом, потому что всегда хотел уехать из Петербурга, но чтобы не слишком всё поменялось. Полина не торопилась рассказывать своим, что снова переезжает. Зачем? Вот когда переедут, тогда и скажет, постфактум: чего их беспокоить лишний раз?

Она видела, как основательно Серёжа собирается — он будто бы хотел увезти с собой всю привычную жизнь, всю вещную часть, а родители подначивали: а возьмите с собой посуду, смотрите, у нас тут сервис один есть, такой красивый, пропадает, жалко, возьмите, сейчас так не делают, барахло какое-то, а этот — на века, это настоящий фарфор... Возьмите ещё шторы с занавесками, тоже лежат там в шкафу...

Серёжа ворчал: нафига нам это старьё, ну чё смеяться-то, везти в Москву с собой? Там купим всё на месте. А Полине нравился старомодный сервис — тёмно-синяя эмаль с обязательной золотистой каймой, цветочки красивые — как народная роспись. Напоминал ей что-то похожее из бабушкиного дома: парадная посуда, из которой нельзя пить просто так, доставали из серванта только по праздникам, протирали тряпкой, от которой потом к чашке прилипали мелкие волокна ткани. А так хотелось пить из такой кружки постоянно. И где тот сервис, кому достался по наследству? Выкинули, сгинул на помойке. Занавески персикового цвета ей тоже нравились, и шторы были неплохими, и постельное бельё почти новое, хорошего качества, хлопковое, и правильно мама Серёжи говорит: зачем вы будете деньги тратить? Забирайте, что оно пропадает всё, кому это надо... Серёже не надо. Он купит новое, и точка.

Зато забирает из родительского дома всякое бесполезное и бумажное: тетрадки с конспектами, там есть даже школьные тетради, книги, компакт-диски — всю большую коллекцию, — подшивки журналов, коробки и коробочки, фотоальбомы, аттестаты (ну, это может и пригодиться, хотя кого интересует аттестат за одиннадцатый класс?). Серёжа говорит, что это память, что это важно, что он всё это потом сыну будет показывать, потому что у них с Полиной родится сын, ну, дочке тоже можно показать, без разницы. Своё он собирает, а вот то, что мать предлагает, не возьмёт: сплавляют всякий мусор, посуду эту, тыфу!

Полина пыталась вспомнить: а где её школьный аттестат? А где её свидетельство о рождении? Все её школьные грамоты — о, сколько у неё их было, она же вечно за школу отдувалась, на всех городских олимпиадах места занимала. Хотела маме доказать, что она самая умная и лучшая. И ещё эти синенькие сертификаты от «Русского медвежонка», которые надо было собирать для мифического «портфолио», и поэтому она участвовала каждый год, интересно, настанет ли тот момент, когда они ей наконец-то пригодятся? А её школьные альбомы и работы, которые она делала, пока училась в художке? Открытки, которые подружки и родственники дарили на день рождения, Новый год, 8 марта и остальные праздники? Дурацкие анкеты, которые она составляла и потом пускала тетрадку с вопросами по рукам, чтоб одноклассники, даже те, которых она терпеть не могла, обязательно заполнили? Там выведено ещё не устоявшимся почерком, что ей 11 лет, по знаку зодиака она Близнецы, и её любимая игрушка котёнок Снежок. Кстати, а где Снежок? Наверное, от времени стал Угольком, впитав в себя пыль квартиры, и тоже где-то сгинул.

Значит, Серёжа может забрать с собой часть прошлой жизни и пронести её через года, а Полина — нет? Их ребёнок, если когда-нибудь появится на свет, будет рассматривать артефакты из детства отца, но не из её? Дочка или сын спросит: мам, а у тебя это было? А покажи! Но нечего будет показать. У мамы нет своего прошлого, она присоединилась к Серёжиному, она словно призрак, и нет у неё ничего собственного.

Дети живут в родительском доме восемнадцать лет, копят ерундовые вещи, все эти рисунки, открытки, диски, которые никому потом не нужны и пылятся где-то в глубине письменного стола в бывшей детской комнате, а потом копят уже в своём доме ненужные взрослые вещи, попутно собирая ещё и родительские, а потом уже их дети не знают, что со всем этим добром делать. У нас плохо работает минимализм, потому что выбрасывать или отдавать кому-то ненужное — не принято. Пусть лежит на всякий случай, найдётся в глубоких кладовках место и старому сервису из настоящего фарфора, и ситцевым отрезам в простенький цветочек, и книгам с пожелтевшими

крошащимися страницами — цена 30 коп., — и тетрадкам с рецептами, по которым никто и не готовил, и чёрно-белым фотографиям — кто все эти люди?

Полина начала составлять список «Вещи, которые я бы хотела забрать из родительского дома». Она вспоминала, что есть в её комнате и что из этого ей нужно. Книги, альбомы — точно надо взять с собой. Старый личный дневник — тоже пригодится. И ту статуэтку в виде белой кошки обязательно. А вдруг разбили? Полина даже позвонила маме, спросила, стоит ли на полочке в её комнате эта фигурка. «Да тут она, что с ней случится?» Слава богу. Она потом переименовала список в «Вещи, которые я хочу забрать из родительского дома». Вспомнила ещё прикольный заварочный чайник в форме ягоды ежевики с весёлой мордочкой — очень неудобный, им никогда не пользовались, потому что наливаешь чай, и всё проливается, но Полине он нравился. В итоге Полина назвала список «Вещи, которые я заберу». Она подумала: может, на этот раз позвать Серёжу с собой? «Слушай, я собираюсь к родителям, может, на неделю. Просто не знаю, когда ещё будет возможность, а то переедем в Москву, вообще к ним не выберусь. Хочу забрать кое-какие вещи ещё. Может, хочешь со мной вместе?» — сказала она ему. Конечно же, он не согласился, Полина была уверена. А он взял и согласился.

3

Что такое моногород? Не только ведь одинокое градообразующее предприятие, которое надо беречь от упадка и развала, иначе всё упадёт и развалится. Кузбасс, родина Полины, почти весь состоит из моногородов и монолюдей. Она сбежала отсюда, но угольная пыль навеки прилипла к её лёгким, осталась воспоминанием о том, какой тяжёлый, свинцовый воздух бывает здесь зимой, как свербит от него в носу и горле. Хорошо, что сейчас весна. Полина сразу закашлялась, наверное, аллергия. Тут вообще очень много аллергиков и людей, страдающих респираторными заболеваниями.

«Здесь хорошие дороги», — сказал Серёжа. В самом деле: от Кемерова до Ленинска и дальше до Новокузнецка построили автобан, есть чем гордиться, трасса вправду хороша.

Про людей Серёжа не сказал, что они хорошие. «Каменные лица у всех какие-то». Полина хотела объяснить: вот это и есть моногород. Люди добывают уголь и оттого сами немного окаменели. Кто придумал называть уголь «чёрным золотом»? Интересно, этот человек сам хоть раз спускался в шахту?

Они проезжали по проспекту Ленина, он мог бы называться проспектом Кирова или Советским, что почти одно и то же, проспекты-дубликаты есть во всех городах. Из окна троллейбуса он видел замученную улицу: она была засеяна старыми пятиэтажками, которые обшили сайдингом, чтоб смотрелись по-парадному. Полина знала, что в сайдинг одели только фасады, что выходят на проспект. Она смотрела на вывески: аптека, мир пива, снова аптека, ещё что-нибудь про пиво, фото срочно, банк, магазин модной женской одежды, ярче, магнит, пятёрочка. Воткнули новые остановочные павильоны, открыли сетевые супермаркеты, — вот и всё, что тут изменилось за последние лет двадцать.

Серёжа думал: покосившихся заборов, конечно, нет, и никто не приглушал автоматически краски до однотонного серого, но здесь и вправду как будто иная цветокоррекция. Его очень удивило, что на проспекте нет ни одной кофейни и нормального благоустройства — где люди гуляют, в какие заведения ходят?

Анастасия Атаян

Внезапно и необратимо

Рассказы

Квадратами на телефон

Я наливалась воду из серого кулера в серую кружку, протирая каблуками серый ковролин. Мойщик окон скользил вниз — за его спиной на многие километры тянулись ряды серых небоскрёбов. Я направилась было к серому столу, когда подошёл примечательный разве что своей непримечательностью парень, поклонился, сказал, что его зовут Кай, спросил, как зовут меня, и промямлил: «Приятно познакомиться». Зачем-то протянул мне руку. Рука его была маленькой, пальцы крохотными, холодными и мокрыми от пота, точно склизкие перепончатые лапы лягушки. Я пожала её на автомате. Кай улыбнулся и сквозь неровные мелкие зубы пробормотал: «Ещё увидимся!»

Его только перевели на наш этаж. Откуда, я уточнять не стала. Я бы его и не заметила, не делай он всё возможное, чтобы я его постоянно замечала. Кай выглядывал из-за монитора и провожал меня глазами каждый раз, когда я шла к шредеру, факсу или принтеру, когда я выходила в туалет и возвращалась обратно. Я чувствовала его взгляд лопатками, шеей, плечами, макушкой. Взгляд этот был тяжелее его самого: хиленького, щупленького, ниже меня на полголовы, Кай одним взглядом придавливал меня к офисному ковролину.

Кай подсаживался ко мне в столовой, заглядывал с любопытством в мою тарелку и спрашивал, что я ем. Я не понимала, как такого маленького человека может быть так много. Я перестала ходить в столовую, я стала покупать двухлитровые бутылки воды, чтобы не пользоваться лишний раз кулером.

Тогда Кай настиг меня в соцсетях. Он писал, как много у нас общего: он тоже любит горы, тоже любит кино, тоже любит музыкальные фестивали. Он звал меня встретиться, но я всегда находила отговорки: занята, выходные расписаны на несколько недель вперёд. Я не могла сказать ему в лицо, что не хочу с ним общаться, да и написать тоже не могла: ни в мессенджеры, ни в рабочий чат, ни от руки. Я отказывала ему так часто, что меня начала мучить совесть.

Атаян Анастасия Вячеславовна — японист, политолог-международник, прозаик, родилась в 1989 году в Сергиевом Посаде. Автор романа «Узники Птичьей башни» и повести «Колодец памяти», входивших в длинный список премии «Лицея» (2019 и 2020). Живёт в Токио.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 3.

Совесть мучила меня каждый раз, когда я выкладывала на фейсбук фотографии из парков, ресторанов, с вечеринок, а Кай их лайкал, а то и сердечки ставил. «Круто!», «Выглядит вкусно!», «Тоже хочу туда сходить!» — он и не знал, какие сальто вытворяло мое чувство вины при виде его комментариев.

Однажды Кай принёс в офис зеркалку и положил её тушу мне на стол.

— Решил заняться фотографией. Посоветуй, какую линзу купить.

Я не знала, как в двух словах объяснить, что объяснить это в двух словах невозможно. Кай стоял возле моего стола, переминался с ноги на ногу. Хиленький, жалкий, тонущий в белой рубашке и сером костюме не по размеру, он улыбался узкими губами, из-за которых выглядывали маленькие кривенькие зубы. Каждый его гулкий выдох раздувал моё чувство вины.

Смотри, какой он одинокий! У него совсем нет друзей. Никто из коллег не зовёт его на обед, да и на пятничные пьянки тоже. Вдруг твой отказ его доломает? Вдруг он уволится и никогда не найдёт новую работу? Вдруг он запрётся дома навеки? Может, за этими глазами прячется доброе сердце?

Моё чувство вины раздулось так, что начало подпирать высокие окна. Мне стало тесно в просторном кабинете. Душно. Сделав глубокий вдох, я сказала:

— В Музее фотографии на станции Эбису новая выставка. Хочешь сходить? Заодно расскажу, как выбирать объективы.

* * *

— Я и не знал, что в Токио есть такой музей, — сказал Кай, когда мы брали билеты в кассе.

Он задирал голову к потолку, изучал плитку под ногами и стены.

— Я и не знал, что кто-то фотографирует так, — пробормотал он в выставочном зале.

— Как так?

— Так обыденно. Так уныло, — Кай склонил голову набок напротив большой чёрно-белой фотографии. На снимке в инвалидном кресле сидела японка лет шестидесяти с короткими, взъерошенными волосами, будто покусанными сединой, и смотрела прямо в объектив. Прямо да не совсем: она смотрела в объектив так, точно за ним никто не стоял, точно за ним начиналась пустота. Пустота в квадрате, пустота в бесконечности. Пустота, из которой не было, нет и никогда не будет выхода. Она смотрела в безысходность.

— Что, прости? Как? — переспросила я на всякий случай.

— Так, что вряд ли он наберёт в Инсте тысячу лайков. Он за эту фотографию и десятка не наберёт.

Я отошла на два шага назад и тоже склонила голову набок. Мне на секунду показалось, что, если склонить голову набок, можно увидеть фотографию глазами Кая. Нет. Я всё так же видела идеальный по композиции и свету кадр. Кадр, рассказывающий историю. Я склонила голову на другой бок. Без толку. У меня так и не получилось увидеть фотографию глазами Кая.

— Он даже поленился сделать из фото квадрат, — добавил Кай.

— Что ты имеешь в виду?

— В Инстаграм выкладывают квадратные фотографии, разве нет? Он что, думает, он самый умный, самый креативный, так, что ли?

— При чём здесь Инстаграм? Мы в музее! Это искусство, а не фотопопса, нацеленная на продажу никому не нужных вещей и навязывание образа жизни.

Эти снимки не навязывают. Они рассказывают и показывают. Историю. Историю больной женщины. Историю матери фотографа. Которая сошла с ума и попала в больницу.

— Зачем рассказывать такие мрачные истории? Ещё и чёрно-белыми снимками? Ещё и прямоугольниками, а не квадратами? — спрашивал Кай.

Он стал читать подписи к снимкам. Вслух.

— «Большую часть дня она проводила в одиночной палате. Лежала на кровати и смотрела в потолок. Она могла лежать так часами, днями...» — зачитывал Кай с усмешкой.

На фотографии, сделанной будто сверху, не иначе как рыбьим глазом, женщина в сером халате лежала на койке, раскидав руки в стороны. Одна рука тыльной стороной ладони упиралась в серую стену, а другая свисала с матраса вниз, едва не касаясь серого пола. В женщине не было жизни. Она походила на труп. Труп с открытыми глазами.

— Зачем он снимал больную мать? — спрашивал Кай возле каждого снимка. Спрашивал так громко, что эхо отскакивало от рамок и подсвечивавших фотографии ламп, а смотрительницы переглядывались.

Я чувствовала себя неловко.

— Что, мало на улицах молодых красивых девушек? Зачем это всё? Кому это интересно? Уныло. Зачем он таскался к ней в больницу так часто? Зачем он вообще её навещал? Она сошла с ума. Жить ей оставалось недолго. Зачем надо было тратить на неё время?

— Что ты несёшь? — не выдержала я.

Кай даже не посмотрел в мою сторону. Он переходил от снимка к снимку, окончательно сгорбившись, переплетая крошащиеся пальцы рук за спиной. Он подходил так близко к снимкам, что рамки запотевали от его дыхания, а смотрительницы покашливали. Наверное, они тоже не понимали, как такой крохотный человечек, на первый взгляд примечательный исключительно своей непримечательностью, может заполнить собой всё пространство. Весь зал от пола до высокого потолка, от стены с первым снимком до листа с благодарностями.

— Он просто любил свою мать и хотел запечатлеть как можно больше моментов её жизни до того, как её не станет. Возможно, он жалел, что не снимал её раньше. Возможно, он жалел, что не проводил с ней достаточно времени, когда она была здорова. Возможно, он жалел, что пока она не попала в больницу, пока она была дома, занималась привычными делами, выходила в город в красивых платьях, делала причёски, подводила глаза и красила губы, готовила ужин для его отца и сестры, убирала дом, он бегал по городу с камерой и снимал молоденьких девиц яркими цветастыми квадратами? Может, после того, как его матери поставили диагноз, он, наконец, понял, как много она значит в его жизни, и спохватился? Решил сохранить память о ней на фото, вывести её жизнь за границы тесной больничной палаты? Не понимаешь, что он просто её любил? — из меня выплыскивалось всё, что я копила полгода, — с первой встречи у кулера.

Меня раздражала его способность смотреть на других людей и их не видеть, их слушать, но не слышать, его неумение читать между строк, по глазам, по жестам, вернее, его нежелание понимать — понимать с полуслова, с полутона, понимать краски по чёрно-белым снимкам, видеть то, что осталось за кадром.

— А я свою мать не любил, — ответил он. — Я её ненавидел. За то, что после смерти отца вздумала снова выйти замуж. Не вышла. В психушку отправилась. Я её не навестил ни разу. Пару лет назад, наконец, сдохла. На похороны я не пошёл.

Что там делать? Понятия не имею, где её пыль закопали и закопали ли вообще. Может, так и хранят в лечебнице, ждут, что я приду и заберу урну. Вот ешё! Она же сказала мне, когда я вызывал санитаров: «Я тебя ненавижу. Ты испортил мне жизнь. Ты довёл меня до безумия! Ты! Не хочу тебя больше видеть!» Напомнила мне эта выставка о ней. В психушке ей было самое место. Жаль, так много времени ушло, чтобы её туда сплавить. Почти семь сотен дней, чтобы тот мужик свалил из дома, купленного моим отцом, и ещё почти четыре сотни, чтобы она совершенно свихнулась. Это было сложно, но если приложить усилия, возможно всё!

Кай гулко выдохнул, но поток воздуха прошёл мимо, не задев моего чувства вины. Я стояла посреди зала, заглядывая в его глаза. За ними скрывался мир бесконечной безысходной пустоты.

— Кстати, я проголодался, — сказал он как ни в чём не бывало. — Здесь есть хорошие ресторанчики неподалёку? Как насчёт суши?

Мне показалось, что я брезжу. Что я начала сходить с ума, как когда-то его мать. Я сделала шаг назад. Ещё один. Нельзя было позволять ему паразитировать на моём чувстве вины. Я развернулась и побежала.

— Ты так и не сказала, какую линзу купить! — крикнул он вслед.

— Снимай на телефон. Квадратами, — бросила я не оборачиваясь.

Сандалии

Сандалии скучали. Сандалии ждали хозяйку, точно два зверька на привязи. Ждали в длинном коридоре примерочной, под плотной чёрной шторкой, не доходящей до пола сантиметров двадцать. Стояли ровно. Пятка к пятке. Носок к носку. Наверное, работница магазина поставила их так — для удобства. Сначала напомнила сандалии снять, а затем подобрала их, раскиданные абы как, и развернула носками в проход, как должно.

Сандалии ждали покорно, пока хозяйка крутилась перед зеркалом — её голые ступни кружились по кабинке, пятки приподнимались, опускались. Сандалии скучали в компании других сандалий, кроссовок, туфель и балеток, как девушки в очереди, от нечего делать рассматривавшие эти самые сандалии. Не смотреть на сандалии было совершенно невозможно: взгляд, пусть и не нарочно, намертво цеплялся за два ремешка, покрытые розовым искусственным мехом — каждый толщиной с кошачий хвост, — не мог оторваться от неоновой жёлтой резинки, без ступни хозяйки грустно опавшей на пятку, а переливающаяся тонкая подошва и вовсе гипнотизировала.

Такие не сдавливают ступню, а обнимают её нежно, точно домашние тапочки. Я знаю. Мерила их. И не один раз. Отец сказал, это слишком. Слишком дерзко. Слишком ярко. И вообще, мне скоро в университет поступать, пора браться за ум.

Странно было слышать это от него: рекламную кампанию «слишком дерзких» сандалий разработала фирма отца. Их фото вываливались на меня каждый раз, когда я заходила в соцсети.

Мне так хотелось эти сандалии, что втайне от родителей я устроилась летом на подработку. Узнай отец, что по вторникам и четвергам я работаю в кофейне, рассвирепел бы. А может, просто не вернулся бы из очередной внезапной командировки.

Шторка вздрогнула, с лязгом отъехала в сторону. Увшанная одеждой, с пакетами в обеих руках, из кабинки вышла женщина.

Александр Гальпер

Три рассказа

«Сестра моя — жизнь»

Поэт Гоша и его жена художница Маша пригласили в гости другую творческую семейную пару. Скоро вся водка была выпита, и Гоша пошёл за новой бутылкой. Когда вернулся, он увидел в постели трёх голых людей. Согласно словам Маши, она просто уснула и ни с кем сексом не занималась. Просто кровать в маленькой квартирке была всего одна. Согласно Гоше, там была оргия, и другой мужчина периодически вставлял член то в свою жену, то в Машу. Ну, так как все участвующие были в стельку пьяны, то правду мы никогда не узнаем. Гоша не захотел слушать никаких оправданий, схватил бейсбольную биту и стал всех лежащих фигачить. Разбил Маше голову. Другой мужик разбил табуреткой голову Гоше. Когда приехала полиция, то все, включая Машу, показывали, что виноват Гоша, и вначале всех четверых забрали в госпиталь Кони-Айленд, а потом Гошу одного в тюрьму.

Я тогда работал водителем в медицинской транспортной компании.

В тот день я допивал утренний кофе и ел бутерброд с тунцом, сидя за рулём грязного вена. Открыл широко окно. Весна. Становилось теплее. Зацветали деревья, и пели птички. Идилию прервал диспетчер. Он заорал по радио как недорезанный:

— 37! 37! Где ты?

Я отложил бутерброд:

— И тебе тоже доброе утро, Петя!

— Поедешь к больнице Маймонида в Боро-Парке и возьмёшь Абрама Дризмана в хоспис. Ты знаешь, как он выглядит?

— Абрама? Да, хорошо. Замечательный мужик.

— Ну, он такой замечательный будет ещё месяц или два в лучшем случае. Вези аккуратно. Не надо раньше времени.

Александр Гальпер — прозаик, поэт. Родился в Киеве в 1971 году, в возрасте 18 лет эмигрировал с родителями в Америку. Окончил литературный факультет Бруклин-колледжа. Книги стихов и прозы выходили в России, США, Германии и Швеции. Финалист премии «Нонконформизм». Более пятнадцати лет работает в Нью-Йорке социальным работником.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 2.

Гоша просидел в тюрьме три дня, и его привезли в суд. Охранник подвёл к двери комнаты, где должно было рассматриваться его дело, и отлучился в туалет. Гоша неожиданно очень захотелось покурить. Он просто накинул куртку на наручники и пошёл. Чтобы выйти из суда, надо было пройти три фильтра контроля, где показывают удостоверения. Но, как и на любой проходной, те, кто часто там ходят и знают охранников, ничего не показывают, просто киваю, спрашивают охранника «как дела?» и идут дальше, не дожидаясь ответа и ничего не показывая. Возможно, если бы Гоша пытался перехитрить охранников и они бы попросили его предъявить удостоверения, не говоря уже о наручниках под курткой, то его бы попали. Но Гоша шёл просто и уверенно, как будто он там был свой уже много лет, и никто не остановил. Это надо уметь! Через десять минут Гоша вышел из здания суда и пошёл пешком домой.

Восьмидесятипятилетний Абрам ждал меня у входа в Маймонидес с огромным кислородным баллоном и маской. Я помог ему залезть в машину и затянув баллон. Я его уже несколько раз возил на химиотерапию и знал немного. Я пристегнул его ремнём, и мы двинули в сторону хосписа. Абрам попросил остановить машину, чтобы покурить. Мы затормозили в парке. Я угостил его сигаретами. Дризман снял маску и затянулся:

— Я вот в больнице видел ток-шоу. Так, оказывается, есть такие люди — геи. Это мужики, которые других мужиков в зад трахают. Как они могут? Черти бесстыжие! Где их совесть? Достоевского они не читали?

— Ну, если они по-другому генетически устроены, что можно поделать? Если их от женщин тошнит и рвать хочется, что они, должны через силу?

— Я вот со своей Сарой шестьдесят лет мучился, пока она в прошлом году не умерла, — и ничего. Выжил! От этого ёщё никто не умирал! Умираю вот от сигарет. Геи хотят легко отделаться. Это нечестно!

Тут позвонила Маша:

— Саша! Мой неандерталец сбежал из тюрьмы. Меня сейчас пять полицейских приехали и охраняют. Ты ездишь на машине по городу. Если его увидишь, скажи, чтобы шёл назад в тюрьму!

Гоша шёл по весеннему Бруклину. Он подобрал окурок и с наслаждением закурил. Потом зашёл в итальянскую автомастерскую, и механик-сицилиец посмотрел вокруг, ничего не сказал, срезал ему наручники и дал бутылку пива. Жизнь была хороша!

На углу Макдональд-авеню и Кингс-Хайвей я увидел Гошу. Мы притормозили. Гоша залез в машину. Опять все закурили, включая Абрама.

— Гоша! Мне Маша звонила. Зачем ты сбежал из тюрьмы? Маша бы, как всегда, через пару дней отошла и заявление бы забрала, тебя бы так и так через неделю выпустили. А теперь побег. Это же серьёзная статья!

— Ты понимаешь, старики... Курить очень хотелось. И я должен был перечитать сборник Пастернака «Сестра моя — жизнь». Без курения я, может, ёщё бы и прожил, а вот без Пастернака не могу. И без Маши не могу тоже. Ты же знаешь, как я её люблю. Сколько у меня о ней стихов и песен! Это же не просто так получилось.

Абрам снял маску:

— В начале войны мы попали в окружение. Командир и комиссар застрелились. А я подумал: «Неужели я никогда не увижу своей Сарочки, не загляну в её глаза, не поглажу по волосам?» И мы с остатками моей роты пошли в прямую штыковую атаку на превосходящие силы немцев и прорвались. Так что ты, Георгий, молодец. Я бы тебя в свою роту взял. Мы бы с тобой из любого окружения вышли!

Я решил, что пора эту беседу прекращать, а то вдруг Дризман умрёт, не доехав до хосписа, или меня обвинят в сокрытии беглецов.

— Так, Георгий! Вот тебе моя пачка сигарет, иди в тюрьму. Чем раньше ты придёшь туда, тем меньше тебя будут бить.

Георгий вышел и скрылся в переулке. Промчалась мимо, мигая и крича, как недорезанная, полицейская машина. Дризман потушил сигарету, и мы опять поехали. Хоспис уже был за углом. Дризман задумчиво сказал:

— Я же и Сара оба работали всю жизнь учителями в московской школе и бредили Пастернаком. Когда Сара уже не могла встать с постели и ничего не видела, я ей читал «Сестра моя — жизнь».

Шесть охранников здания суда были уволены несмотря на многолетний стаж работы, потеряв пенсии. Их семьи потеряли не только деньги, но и хорошие государственные медицинские страховки. Профсоюз судебных охранников не смог их защитить. Гоша вернулся в тюрьму через три дня и получил два года за побег. По окончании срока его депортировали в Россию. Маша развелась с ним и переехала из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Абрам умер через три месяца. На ночном столике у его кровати был портрет покойной жены и томик Пастернака.

Ночной грузчик

По окончании месячной учебки меня вопреки обещанию, данному во время интервью, поставили в ночную смену. С двенадцати ночи до восьми утра. Самое паршивое время. Если бы я знал, я бы не согласился с самого начала. А теперь деваться некуда. Во-первых, за месяц обучения платили только после месяца работы. Во-вторых, другой работы я найти не мог. Я выезжал из дома в одиннадцать вечера и возвращался в девять утра. Ложился спать и просыпался в шесть-семь вечера. И попробуй тут усни при дневном свете. Через неделю или две я втянулся и, как вампир, вообще забыл о существовании солнца. Есть только мерцание электрических лампочек и ночные огни взлётной полосы. В первый день (или, скорее, ночь) я узнал свою бригаду грузчиков. Все были пуэрториканцы. То есть один залез и всех остальных затянул. Вокруг говорили на незнакомом испанском. Бригадир был мексиканец. В первый день он долго всем что-то объяснял, махал руками и показывал на приземляющиеся самолёты. Всё, естественно, на испанском. Я переспросил стоявшего рядом:

— Хосе! Что он говорит?

— Он говорит, чтобы аккуратно, и не подходили к самолёту, когда он только приземляется или взлетает. Человека из его бригады в прошлом году засосало в сопло и перемололо в капусту. Это касается в основном тех, кто работает ночью. Они всегда полусонные.

Ян Бруштейн

Ленинградские ветры

* * *

Ленинградские ветры, осколки огня...
Из беды они вышли, из маминой боли,
Из блокадной печали, из вечной юдоли,
И навылет пробили меня.

Я там был. Я там не был. И меньше двух лет
Отделяли меня от последнего взрыва,
И была тишина, как девчонка, пуглива,
И с трудом пробивался рассвет.

Так живу, так несу этот холод в душе.
Ленинградские ветры, родные до плача...
Что без них этот мир? Ничего он не значит
На последнем моём рубеже.

* * *

Какая тишина была в России —
Как будто в лодке с поднятым веслом,
И если на Оби траву косили,
То это слышно было под Орлом,

И лошади, забыв воды напиться,
Тревожно замирали на ветру,
И женщин зачарованные лица
Рассветами вставали поутру.

Какая тишина над миром встала!
Безбрежная, как поле, тишина.
Когда трава под Курском прорастала,
То на Оби она была слышна.

Ян Бруштейн — поэт. Родился в 1947 году в Ленинграде. Работал в областных газетах и на телевидении, кандидат искусствоведения. Автор девяти поэтических книг. Лауреат конкурсов им. Н.Гумилёва, Н.Некрасова и др. Живёт в г. Иваново.

И женщины зачарованные лица
Ловили гулкий отзвук тишины...
Она лежала, как лежит граница
Войны и мира, мира и войны.

Колея

Несбывшейся судьбы слепая колея,
И сбывающейся судьбы калёные железа.
Я был кому-то враг, а может, и не я,
Лишь след остался, как от старого пореза.

Другой земли уже не будет у меня.
Моя родня давно рассеяна по свету.
На этом рубеже, на линии огня,
Там, где пробито дно, где догорает лето,

Где ягода горчит, где яблоня пуста,
Где сердце жжёт в ночи, как будто после драки...
Все строчки разменял с последнего листа.
Кто встретит там меня? Наверное, собаки.

Как сладок этот дым погасшего костра!
Она придёт к другим, беспечная победа.
Жизнь всё-таки, скажи, прекрасна и остра,
И можно дальше жить, не оставляя следа.

* * *

Это детское счастье озоба и жара —
Ноги ватные — вовсе не выйдешь.
А в гранёном стакане остатки отвара,
И бабуля мурлычет на идиш.

Я тихонечко плачу — для полной картины,
А на стенах — разводы и тени...
Мамин голос: «Спасибо, что не скарлатина!
Полетели, дружок, полетели!».

И несёт, прижимая несильной рукою,
Всё по кругу, куда же ей деться.
И блокадная память зовёт, беспокоя...
Питер. Послевоенное детство.

Яблоня

В безумном мире есть одна забота:
Болеет яблоня и стонет при ветрах.
Кору теряет. Стынет у забора,
Но яблоки лелеет на ветвях.

Перезимует? Ствол измазан глиной,
Ломает ветки непосильный груз,
Зима пребудет яростной и длинной,
И потому тревожна эта грусть.

Грибов и яблок — столько не бывает!
Старухи каркают о бедах и войне...
Но яблоня моя стоит живая,
Дай Бог, она проснётся по весне.

Дмитрий Шеваров

Девочка из последнего эшелона

Маленькая повесть о маленькой маме

Маральник — чудо. Из сухих веточек — вдруг зелёные листочки и бледно-фиолетовые цветы, получившиеся из чего-то сморщенного, в чём нельзя было подозревать бутона. И нежные листочки всё лезут и лезут. Эх, а вдруг все мы, как маральник, ждём, когда нас поставят в воду?

Из маминого дневника, 1967

Издавна считается, что жизнь родителей и детей — это бесконечное расхождение. Каждый прожитый день отдаляет растущих детей от стареющих родителей.

Наша с мамой история — обратная. Расставшись с родителями годовалым младенцем, я соединился с ними уже почти подростком. Наверстать упущенное, казалось бы, дело малоперспективное.

И всё-таки жизнь наладилась. Прошло ещё десять-двенадцать лет — и мы вновь оказались в разлуке: меня призвали в армию, я женился, начались мои переезды из города в город. Но парадоксальным образом эти беспокойные годы тоже стали дорогой навстречу друг другу. Каждый раз, когда я приезжал к маме, мы оба чувствовали, что стали ещё ближе.

Что же в результате, что в finale этой дороги, казавшейся мне ещё недавно бесконечной? Финал в том, что финала нет. Узнавание — радостное, чуткое и нежное — продолжается. Только сегодня я уже не смотрю на свою жизнь так, как смотрел в отрочестве и юности, — как на что-то отдельное, обособленное от мамы.

«Историей для меня является время, когда мама жила до меня», — говорил Ролан Барт.

Я давно люблю эту мысль, но обращая её к себе, невольно ищу замену слову «история». Ведь не как историк я вникаю в те двадцать пять лет, которые отделяют мамино появление на свет от моего. Не знаю, как назвать это чувство. Скажу лишь, что та жизнь, когда мама жила до меня, — это уже моя жизнь.

...Я была бы так рада, если б кто-то нашёл
какие-то «ключки» моего детства,
рассказал обо мне, девочке.
Зоряна Рымаренко¹.

Из письма сыну, 2006 год

¹ Рымаренко Зоряна Леонидовна — театральный критик и телевизионный редактор; дочь кинорежиссёров Леонида Рымаренко и Веры Волянской; мать писателя Дмитрия Шеварова.

Глава первая

Канонада

Сентябрь 37-го. — Предвоенная осень. — Землетрясение. — «Зорька — как погода в Одессе...» — Восемь месяцев до войны. — Последний мирный Новый год

Первые раскаты войны настигли маму ещё до войны и даже до рождения.

Мамина мама (и моя бабушка) Вера Елисеевна¹ вспоминала, что, когда в сентябре 1937 года ребёнку пришла пора появляться на свет, она в сопровождении мужа (моего тридцатилетнего тогда дедушки Леонида Ивановича) отправилась в роддом. Роддом находился не очень далеко, а погода в Одессе ранней осенью вполне летняя. Молодые супруги были уже почти у цели, когда завыла сирена и ракеты объявили: «Граждане, воздушная тревога!» — начались учения гражданской обороны.

К Вере Елисеевне подбежали с носилками санитары — парни и девушки. Леонидом Ивановичем они не заинтересовались: кому охота тащить такого рослого дядьку. А Вера Елисеевна — маленькая, как девочка, и животик у неё такой скромный, что никто его не замечает. Санитары — весёлые студенты — подхватили Веру Елисеевну и, не обращая внимания на её протесты, уложили на носилки. Леониду Ивановичу пришлось обороняться от гражданской обороны, отбивать жену силой.

Из роддома Вера Елисеевна передала записку мужу: «Лишь бы девочка была здорова, а то такая малюсенькая. Смешно будет — ты такой большой, а она такая крошка!..»

Летом 1939 года молодая семья сняла домик в Черкасской области на берегу моря.

В первую же ночь оказалось, что по соседству располагается артиллерийский полигон. Снаряды с воем перелетали через крышу домика и поражали цели в море.

Учебные стрельбы артиллеристов превращали каждую ночь в пытку. Только ребёнок засыпал — начиналась канонада.

В предвоенную осень Леонид Иванович уже находился в Новосибирске — его перевели на «Сибтехфильм». На Одесской студии для художников-мультипликаторов не было работы. Леонид Иванович надеялся, что скоро устроится и вернётся за женой и дочкой.

Из писем Веры Елисеевны Леониду Ивановичу.

Из Одессы в Новосибирск:

10 сентября 1940 года

«...С нашей маленькой крошкой я ходила на море и разговор тоже по всякому поводу вертелся возле папы. Море было тихое-тихое, и я подумала, что хорошо было бы с тобой половить бычков, а после купаться до темноты.

¹ Волянская Вера Елисеевна окончила монументально-фресковое отделение Одесского института изобразительных искусств. С появлением в нашей стране анимации Вера пришла работать в мультиках Одесской киностудии, где встретила свою любовь — художника Леонида Рымаренко. На всю жизнь они увлеклись кинематографом, стали выдающимися режиссёрами научно-популярного кино. Причём все свои фильмы они снимали вдвоём, никогда не расставались. Вера разделяла с мужем самые трудные и рискованные экспедиции: на Север, Дальний Восток, в пустыни Средней Азии и Уральские горы.

Когда мы возвращались с малюткой, она несколько раз так внезапно целовала мне руку, что я просто не знала, что делать, чуть не ревела. А потом говорит: “Пойдём на вокзал, может быть, пapa приехал...” Я взяла её на руки, она прижалась ко мне...

Без Зорюшки я счастлива вполне не буду. А собрать вас вместе я не могу. И от отчаяния и от сознания своего бессилия я так горько плакала тогда. Тяжело очень! Может, это излишняя мрачность, но мне не хочется терять ни одного дня, который я могла бы провести с вами обоими.

Без тебя всё пришло в негодность: часы идут, но стрелки не двигаются. Радио скрутили. Дома денег ни гроша. Завтра что-то нужно продать. И маму и Зорю жалко. Такие они обе жалкие и одинаково беспомощные...»

15 сентября 1940 года

«...Зорьке сегодня купила лото — звери. Ей очень понравилось. Сидели вечером и играли втроём — я, баба и Зоря. Было так тихо, тепло, уютно, и нелепо, что тебя не было с нами.

Зоря по-прежнему, ежедневно прибегая ко мне утром в одной рубашечке и забираясь под одеяло, спрашивает: “Пapa ещё не приехал?” Или — “Когда я к нему поеду?...”»

10 ноября 1940 года в Одессе произошло землетрясение силой семь баллов.

Из письма Веры Елисеевны Леониду Ивановичу.

Из Одессы в Новосибирск:

«...Вчера, вернее сегодня в 4.40 утра, было ужасное землетрясение, такого я ещё не переживала.

Началось с медленного раскачивания, от которого мы проснулись (и Зорька). Я сразу поняла, что это, и бросилась к Зорьке, схватила её и в чём была выскочила в коридор — мама меня остановила. И тогда под гул подземный и треск я скоренько одевала дрожащую Зорьку. Землетрясение усиливалось с каждой минутой. Это было что-то ужасное. Наша лампа качалась от стены до стены. Комната по углам дала трещины. Но хуже всего ощущение сдвигающихся и шатающихся стен.

У меня до сих пор кружится голова... Хуже всего, что по радио сообщили, что нужно ожидать продолжения.

Мы ночью с Зорей часа два гуляли. Все люди высыпали на улицу, город жужжал и кишел, как муравейник, а Зоря говорила, что если бы был пapa, он бы не позволил, чтоб наш дом трусился.

Ждёшь этого повторного землетрясения и поневоле думается, что не увидимся мы с тобой никогда. За Зорьку тоже так страшно. Что, если её придавит на моих глазах, а я останусь...

Вот сейчас я пишу, а мне всё кажется, что трясётся земля — это уже нервы растряслись. Мама, бедняга, так разнервничалась, что вынуждена была лежать, а не убегать из дома. А сейчас ей совсем плохо, и она до сих пор вся дрожит от ночного страха. Я пообещала ей, что посижу часов до трёх, чтобы захватить землетрясение, если оно начнётся сразу. Говорят, у нас до семи баллов доходило... А главное — страшно. Я не думаю, чтобы я была трусиха, но мне было ужасно жутко, какой-то животный страх, правда, главным образом за Зорю.

Да, в Новосибирске спокойнее во многих отношениях. Ты присмотрись хорошенъко, может, и можно там жить. Если нас до того времени не завалит здесь...

Жду землетрясения и берегу бабуси и Зорин сон. Уже тихо, все вокруг спят, или, как я, стерегут своих спящих...»

Об оставшейся в Одессе семье заботился Евгений Рымаренко — старший брат Леонида Ивановича. А семья — это Вера Елисеевна, бабушка Вера Михайловна и две трёхлетние малышки — Зорюша и её двоюродная сестра Ритуния. Родители Риты — Юрий и Елена — были в постоянных командировках.

Евгений Иванович — филолог-лингвист, аспирант кафедры языкоznания Одесского университета. В начале войны он вступил в ряды одесского ополчения, участвовал в обороне города, оказался в румынском плену и умер от истощения.

Сохранились письма дяди Жени младшему брату, где он много пишет о любимой племяннице.

Из писем Евгения Рымаренко 1940—1941 годов:

«Зорька очень реагировала на землетрясение — нервничала и пугалась...»

«Зорьку не узнаешь: болтуня невозможная...»

«Зорька не любит морали. Когда начинаешь говорить что-нибудь про хороших и плохих девочек, её сразу начинают интересовать какие-нибудь предметы, или задаёт самые несуразные вопросы “не по существу доклада” (а я вспоминаю слугу Обломова — Захара, для которого хуже смерти были “жалкие” слова барина)...»

«Вчера ходил с Зорькой и Ритой в зоосад. Смотрели львов, слона и обезьян. К удивлению, слон не произвёл на девчат большого впечатления. Они бесстрашно подносили ему куски булки. У Зорьки слон чуть не заглотил перчатку.

Понравилась белка в колесе, особенно потому, что послушная. Крикнешь: “Остановись!” — остановится. “Покрутись!” — опять завертится.

Кенгуру девочки прочитали стишкы:

Длиннохвостый кенгуру
Погулять зовёт сестру,
А сестра сидит в мешке
У мамаши на брюшке...»

«Зорька — как погода в Одессе: то капризничает, то ведёт себя прилично (последнее у нас очень высоко ценится).

Девчонки дерутся, как молодые петушки. Не доглядишь, как хлоп-хлоп по голове друг друга. Но и нежности хватает.

— Зорюнечек мой маленький, — говорит Ритушка и обнимает и целует. Очень любят играть в папу-маму, а иногда Рита — мама, а Зорька — детка, которую крепко любящая мать должна охранять от опасностей и спасать в беде...»

Восемь месяцев до войны.

Вера Елисеевна — Леониду Ивановичу.

Из Одессы в Новосибирск:

2 ноября 1940 года

«...Вызывала бабусе врача, не приехал: нужно, мол, машину прислать за ним. Прямо как за границей. До чего же сволочей много развелось! Я помню, как папа (Елисей Иванович Волянский — врач, выпускник Военно-медицинской академии, начальник Керченского военного лазарета Черноморского флота в годы Первой мировой войны. — *Прим. Д.Ш.*) в любую погоду, в любое время всё бросал и ехал к больному, и не потому что нуждался в деньгах, без экстренных визитов мог прожить, но не представлял себе, как он бросит больного без помощи. А теперь...

Строки из прошлого

Мария Бушуева

«Различать север по звёздам»

16.3.42 г.

Милая мама-Наташа!

...Несколько дней назад я перешел из разведки, где пробыл два м-ца, в топографический отряд нашего полка. Эта работа ближе мне по специальности и сейчас я сижу над проработкой руководства, над формулами, — которые уже подзабыл и которые надо вспомнить в самый короткий срок. В геодезическом отряде армии, где я вчера был, оказались геологи преподаватели Горного Ин-та, все ленинградцы моего возраста. Я вынырнул из своей передовой линии в этот ближайший тыл в первый раз. И было странно сидеть в тишине, в доме (пусть полуразрушенном), у окна и говорить об общих знакомых. Ты спрашивала о людях! о них много можно рассказать хорошего. Отношение ко мне в большинстве случаев очень хорошее. Особая фронтовая дружба надежная и вместе с тем не рассчитанная на столетия, связывает меня с многими. Между прочим, очень много научных работников воюет здесь на передовой, рядом со мной. В штабе попадаются хорошие книги, которые удается урывками почитать. У нас есть: «Жан Кристофф», «Цитадель», «Красное и Черное» Стендaluя, «От двух до пяти» Чуковского, вторая часть «Таинственного острова» Жюля Верна, и собрание соч. Наполеона (о чем я не подозревал ранее), Лермонтов у моего товарища, нач. связи физика из М.Г.У., книжечка стихов Долматовского «Московские рассветы»...

...Очень хочется принять участие в пёсней радости, в жизни и развитии наших наследников. Для них весенние звёзды особенно ясны и особенно синяя вода на Каме и облака в небе особенные тоже. Вот это и утешает, когда думаешь о смерти папы, а свист мин особенно угнетающий, а на труты тяжело смотреть...

...Мне по-прежнему ничего не надо, все есть. Теперь буду чаще мыться в бане, если только куда-нибудь не перебросят с этого участка фронта.

Ну, мой милый, целую тебя крепко...
Твой Сергей

Просмотрено Военной цензурой

Письма Сергея Боча прислала моя Санкт-Петербургская родственница Ирина Львовна Репкина, его внука.

Он родился в Ленинграде в семье педагога-ботаника и профессора-почвоведа Геннадия Николаевича Боча, умершего от истощения в блокадном Ленинграде. Из некролога 1942 года: «Жертвой варварской немецко-фашистской блокады Ленинграда пал один из старейших педагогических и музеиных работников Геннадий Николаевич Боч. <...> Г.Н. отдавал все свои силы и энергию своему любимому детищу — музею. Много энергии затрачено им на сохранение музея от вражеских бомбезек и обстрелов».

Центральный музей почвоведения имени Василия Васильевича Докучаева и ныне работает в Санкт-Петербурге неподалеку от Стрелки Васильевского острова. Личность В.В.Докучаева (1846—1903) — основоположника генетического почвоведения — и его основные работы: «Русский чернозём», «Наши степи прежде и теперь», — оказали огромное влияние не только на развитие геологии, климатологии, гидрогеологии, агрономии, агролесомелиорации в целом, но и конкретно на его ученика В.И.Вернадского, считавшего Докучаева выдающимся ученым мирового уровня, «русским самородком», «прирожденным натуралистом», обладающим «широким оригинальным умом». Первыми экспонатами музея, начавшего работать в 1904 году уже после смерти Докучаева, стали докучаевские коллекции, и экспонировались они как в городах России, так и в столицах Европы, даже в Америке (в Чикаго).

Научная поэтика почвоведения, разработанная Докучаевым, вдохновляла Геннадия Николаевича Боча, с 1918 года — профессора, до 1923 года — проректора, затем — ректора Второго Петроградского педагогического института им. Н.А.Некрасова. С 1932 по 1942 год Г.Н.Боч — директор Музея Почвенного института.

Его сын — Сергей Геннадиевич Боч стал геологом и геоморфологом, исследователем Приполярного Урала и Западной Сибири, карстового и ледникового рельефа. Сергей Боч — один из создателей первой геоморфологической карты Урала, первооткрыватель нескольких ледников. Именем С.Г.Боча названы: ледник — в северной части Полярного Урала, на Юго-Восточном склоне хребта Оченырд (Оче-Нырд) и моренное озеро. Не так давно вышла научно-популярная книга, посвященная Сергею Геннадиевичу Бочу¹.

Во время войны Сергей Боч прошел подготовку в Тюмени (ноябрь—декабрь 1941), затем был отправлен на передовую Волховского фронта. Служил командиром разведроты и артиллерийского дивизиона.

На всех его письмах значится «Просмотрено Военной Цензурой».

10.5.42 г.

Дорогая моя Наташенька!

Сейчас я пишу тебе в избушке, построенной моими бойцами из жердей и торфа на опушке молодого леска. Из разбитых домов соседней деревеньки притащили стекло для крохотного окна. Дымная печурка греет. Но в щели дует холодный ветер. На лужах лед. Потепления жду не раньше 15 мая. На широком просторе Ладоги лед. Нас посещают

¹ Кудрин К.Ю. По маршрутам первых исследователей Приполярного Урала / К.Ю.Кудрин; Русское географическое общество, Югорский государственный университет. — Ханты-Мансийск: Печатный мир, 2020. — 133 с.

Юнкеры и Мессершмитты, то вспыхивает, то затихает стрельба зениток и канонада фронта... Вчера был в бане. Назад шел по опушке леса. Снежные свинцовые тучи старались потушить багровый закат. Было тихо и холодно. Грустно и мирно. Как будто за гребенкой леса должен сейчас проступить абрис знакомых мне гор Приполярного Урала.

Твой Сергей

Отец Сергея Геннадиевича до Петроградского педагогического института им. Н.А. Некрасова преподавал в Коммерческом училище в Лесном. Лесное — сейчас часть северных районов Санкт-Петербурга, тогда — дачная местность. Снимал дачу в Лесном Василий Васильевич Розанов; его дочь Вера, родившаяся в 1896 году, была крещена в Храме Преображения Господня в Лесном священником Иоанном Рождественским. На Лесном проспекте (тогда пригород) жил Натан Альтман. А с предприятия племянника Альфреда Нобеля Эммануила Нобеля, чей особняк располагался здесь же, 23 февраля 1917 года покатилась волна Февральской революции.

Коммерческое училище в Лесном отличалось свободомыслием: директор каждые четыре года переизбирался, действовало самоуправление учеников, введено было — нигде тогда не практикуемое — совместное обучение мальчиков и девочек. Образование строилось на основе развития общей культуры: почти половину программы составляли предметы словесные, на естественно-математические отводилось 39% учебных часов, а на искусство — 17%. Только в последнем классе вводились предметы специальные, коммерческие: политическая экономия, законоведение, бухгалтерия, товароведение.

Геннадий Nicolaevich Боч, тщательно подбирая кадры, пригласил в Коммерческое училище историка Сергея Ильича Ярославцева, преподавателя старших классов мужской гимназии города Климовичи Могилёвской губернии, а до преподавания — студента Императорского Санкт-Петербургского университета, но из-за студенческих волнений закончившего философский факультет университета в Харькове.

Сергея Ильича Ярославцева и сейчас чтут в Климовичах как одного из первых историков-краеведов, автора брошюры, изданной в 1914 году в типографии Иосифа Завадского и содержащей ценные сведения о городе¹.

С.И. Ярославцев писал: «Маленькие невзрачные домики скрываются в зелени многочисленных садов, разбросанных по слегка всхолмлённой поверхности города и отчётливее выделяются каменные и лучшие деревянные постройки, лежащие в более высокой части города...» В Климовичах соседствовали с православными храмами хасидские и миснагидские синагоги. Миснагидские синагоги назывались «ашкеназскими»: в них молились согласно правилам ашкеназов. Из образовательных учреждений имелись две гимназии (в женской преподавала жена Сергея Ильича Таисия Михайловна, дочь горного инженера Болотова) и пять еврейских школ.

Потомок жителей Климовичей Шмуэль Рывкин на ондом из сайтов вспоминал: «С детства я знал, что у меня есть только одни дедушка с бабушкой, мамины родители, а папиных нет — их убили фашисты. И маленьких папиных братьев, моих дядей, которым было тогда лет меньше, чем мне, тоже убили. Убили вместе со всеми евреями маленького белорусского городка Климовичи, где они жили всю жизнь...»

Но в начале XX века жизнь в городке текла очень мирно: ничто не предвещало страшных бед Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Взору приезжего открывался тихий небольшой городок: «Экипаж долго подпрыгивает и грохочет по скверной мостовой длинной улицы, спускается с горы, переезжает через речушку с болотистыми берегами, поднимается на гору — и только здесь тип построек начинает меняться:

¹ Ярославцев С.И. Город Климовичи Могилёвской губернии: Геогр.-стат. очерк / С.И. Ярославцев, преп. муж. гимназии. — Вильна: Сев.-Зап. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва, 1914.

встречаются дома большого размера, крытые тёсом и железом, мелькают вывески почты, булочной, дилижансной contadorы, гостиницы и, наконец, в конце улицы, упирающейся в большой тенистый сад...»

В 1915 году С.И.Ярославцев по приглашению Г.Н.Боча переехал из Климовичей в Санкт-Петербург.

Дочь Сергея Ильича — Наташа Ярославцева, впоследствии преподаватель словесности, а затем директор ленинградской школы, будучи студенткой, занималась спортом на стадионе в Удельном парке. Туда же зачастил и молодой человек — Сергей Боч. Они познакомились и полюбили друг друга. Это ей, своей любимой жене, пишет Сергей Геннадиевич с фронта. Так, казалось бы, совершенно случайно судьба соединила два рода романтиков — исследователей и путешественников. Генетика не отклонилась от главной линии: дочь Сергея и Натальи, Марина Сергеевна Боч, стала известным ботаником-болотоведом, доктором биологических наук, профессором, ведущим научным сотрудником Ботанического института имени В.Л.Комарова РАН. Самая близкая родня по линии С.И.Ярославцева — ушедшие со школьной скамьи на фронт два брата С.В.Бушуев и А.В.Бушуев — тоже будущие романтики-исследователи. Первый из братьев — С.В.Бушуев — геофизик (одно время начальник геофизической партии), автор многих газетных публикаций, едва не погибший в юности на ладожской Дороге жизни: он почему-то решил идти по льду пешком, а машина с его товарищами, на которой он должен был ехать, обогнав его, ушла под лёд. Второй брат — А.В.Бушуев — полярник, руководитель одной из смен экспедиции СП-4, кандидат технических, доктор географических наук, лауреат Государственной премии СССР, ведущий исследователь льдов, долгие годы возглавлявший в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) отдел совершенствования ледовой информационной системы, специалист по аэрофотосъемке, в том числе с космических аппаратов. Марина Сергеевна Боч, изучая болота тундровой зоны, тоже использовала материалы аэрофотосъемки.

Романтизм Сергея Ильича Ярославцева был несколько иного, скорее, литературно-исторического, свойства: он пытался найти библиотеку Доминиканского монастыря, предположительно существовавшего в начале XVIII века в Климовичах. Говорили, что от монастыря остался подземный ход, будто бы вел он под фундамент городской тюрьмы; ходил слух, что в одной из камер нижнего этажа обвалился пол и рабочие заметили внизу помещение, вдоль стен которого стояли дубовые шкафы с массивными старинными книгами.

«В своем географо-статистическом очерке о Климовичах, — пишет Дарья Эверс на сайте Климовичей, — Сергей Ильич рассказывает о своих попытках заново открыть подземную библиотеку. Сергей Ярославцев обратился к главному губернскому тюремному инспектору графу Толстому в Могилёве <...> Все расходы Ярославцев обязался оплатить лично.

Граф Толстой разрешил Сергею Ильичу вскрыть пол в камере, соседствующей с той, где когда-то образовался провал. Как только подняли деревянный пол, нога одного из участников "разведывательной экспедиции" провалилась в пустоту. Спустившись под землю, исследователи увидели там кирпичный свод. Расширили провал — и спустились в узкий коридор со сводчатым потолком. Из коридора дверь вела под ту камеру, где провал образовался раньше. Но пробиться туда было почти невозможно...»

...Со старинной фотографии на нас смотрят красивый человек и очаровательная девочка — его дочь Наташа. На фото надпись: «Климовичи. 1914 год».

Культурный слой

Алишер Навои

Дуновение любви из цветников благородства

Жизнеописания великих суфииев Востока. Фрагменты

Со староузбекского. Перевод Сабита Мадалиева

Алишер Навои, великий тюркский поэт, основоположник литературы на чагатайском (староузбекском) языке, приступил к созданию книги жизнеописаний великих суфииев Востока на закате своих дней. Как признается он во вступлении к этому стремящемуся к полноте своду свидетельств о жизни мусульманских святых, в 881 году Хиджры, что соответствует 1476 году христианского летоисчисления, он помогал своему наставнику, другому признанному классику литературы Востока, 'Абд ар-Рахману Джами, собрать и привести в порядок его книгу «Дуновения дружбы от великих благородством своим людей».

«Постоянно в мой ум, — пишет Навои, — очарованный книгой этой благословенной, приходило и в мыслях крутилось, что слова в этой книге — персидские... Представители наших тюркских народов, истину исповедующие и сердец чистоту, из-за того, что не знают в мере достаточной языки — и персидский язык, и арабский, — лишены были связи с книгой, подлинного наставления, и им неизвестны тонкости скрытой истины.

И вот ваш покорный слуга подумал однажды: «Смогу ли я пересказать благословенную книгу эту на тюркском, на родном для меня языке? Смогу ли все тонкости передать в ясных, простых словах?..»

Я никак не мог преодолеть сомнения эти в себе и не мог начать эту работу из-за необъятности слов, сокровенных мыслей чужих и недоступности смыслов и таинства шайхов святых. И только <...> когда уже двадцать лет миновало с тех самых пор, когда я впервые задумал книгу ту перевести, я подвигнулся к перу на этот грандиозный труд».

В общей сложности «Дуновения любви из цветников благородства» вбирают в себя жизнеописания 770 суфииев, проживавших на огромной территории исламского мира от стран Магриба и Ближнего Востока до Туркестана и Индии, охватывая семь столетий истории ислама. При этом для автора крайне важна преемственность и достоверность передаваемых свидетельств. Описание пути, который проделала из уст в уста та или иная история либо высказывание, и перечисление святых, которые носили прежде суфийскую хирку, укрывающую плечи героя жизнеописания, уходят иногда в глубокую древность и занимают не одну страницу. И в то же время читатель постоянно ощущает некую дистанцию, отделяющую автора книги от описываемых

событий, допущение, что все изложенное могло бы иметь другое прочтение, будучи увиденным под другим углом зрения. Не случайно многие жизнеописания завершаются фразой: «Так говорят люди, но Аллах знает лучше».

Читатель, знакомый с агиографиями христианских святых, возможно, заметит некоторое сходство суфийских орденов с монашескими братствами: свойственный тем и другим аскетизм и неустанное усмирение «низменной души человека — нафса», стремление как можно дальше уйти от мира с его соблазнами и пороками, безусловное послушание духовному наставнику.

Бросается в глаза и родство жизнеописаний с фольклором, особенно отнесенных в глубь веков. Ряд сюжетных мотивов — вроде чудесных спасений героев во время кораблекрушений или избавления незнакомых людей из далекого плена по мановению руки святого — блуждают и переходят из одного фрагмента книги в другой.

Все это делает «Дуновения любви...» не только бессмертным образцом духовной литературы Востока, но и выдающимся произведением мировой художественной литературы, которое еще только предстоит по достоинству оценить широкой читательской аудитории.

Отдельно следует отметить работу хазрата Сабита Мадалиева — известного ташкентского поэта, редактора и переводчика, в последние годы глубоко и напряженно трудящегося над переводом на русский суфийского литературного наследия. Переводчик «Дуновений любви...» умело передает звучание ритмизированной, поэтичной прозы, которой написана книга Навои, а его подробные комментарии служат важным подспорьем для читателя, мало посвященного в историю суфизма.

Двухтомное собрание сочинений Алишера Навои в переводах Сабита Мадалиева, куда наряду с «Дуновениями любви...» войдет и поэма классика узбекской литературы «Мольба к Богу», должна выйти в этом году в ташкентском издательстве Ma'naviyat.

Вадим МУРАТХАНОВ

19. Абу Йакуб аль-Хашими,
да благословит Аллах его тайны

Абу Йакуб аль-Хашими рассказывал:

— Никогда не забуду того, как однажды в праздничный день в честь завершения месяца *Рамадан* мы с Зун-н-Нуном возвращались домой. Толпы людей, которые тоже шли из мечети, были в приподнятом настроении духа оттого, что совершили праздничную молитву. Зун-н-Нун сказал: «Эти люди радуются, ибо, исполнив свой долг и завершив месячный пост, они совершили праздничную молитву, но того эти люди не ведают, будет принята их молитва или нет. Давай отойдём в сторону и поплачем о них!»

74. Ахнаф аль-Хамадани,
да благословит Аллах его тайны

Ахнаф аль-Хамадани — из числа величайших шайхов Хамадана.

Он рассказывал:

— В самом начале моего мистического пути оказался я один в бескрайней пустыне. Долгое путешествие по нестерпимой жаре сильно утомило меня, я безмерно устал, испытывал голод и жажду. И тогда, воздев перед собой ослабевшие руки, я взмолился перед Аллахом: «О Всевышний, я твой слабый и ничтожный раб, пришёл навестить Тебя». Последовал ответ: «А кто тебя звал?» Я ответил: «О Господь! В Твоём царстве и для незваного найдётся место». Вдруг кто-то окликнул меня сзади.

Я оглянулся и увидел араба, сидящего верхом на верблюде. Он спросил: «Эй, иранец, куда направляешься?» Я ответил: «В Мекку». Он спросил: «Тебя кто-то позвал?» Я ответил: «Не знаю». Он сказал: «Но твоих сил на этот путь не хватит». Я согласился, но признался, что я незваный. Он сказал: «Хорошо, ты незваный, но земля широка». И ещё он спросил: «Ты можешь взвалить свои заботы на этого верблюда?» Я ответил: «Могу». Тогда он слез с верблюда, подсадил меня на него и сказал: «Иди к дому Господа».

75. Абу Шу'айб аль-Мукарна,
да благословит его Аллах

Имя Абу Шу'айбы аль-Мукарнны было Салих, и проживал он в Египте во времена его святости шайха Абу Сайда Харраза.

Говорили, что он совершил семьдесят пеших паломничеств в Мекку. Перед каждым паломничеством он давал твёрдую клятву посетить Священный дом и только затем вступал в пустыню Табук. Во время последнего паломничества он увидел в пустыне собаку, у которой от жажды язык вывалился изо рта, и она была уже на грани издохания.

Он громко воззвал:

— О люди! Откликнитесь. Найдётся ли кто-нибудь, кто готов напоить собаку за благо семидесяти пеших моих паломничеств?

Откликнулся один человек, который, как и просил святым, принёс воды и вдоволь напоил собаку.

И потом признавался шайх, да будет свята его могила:

— Из всех моих хаджей это паломничество было для меня наилучшим, ибо Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, изволил сказать: «За добро, сделанное каждой живой твари, есть своё вознаграждение».

90. Тальха б. Мухаммад Сабах ан-Нили,
да благословит Аллах его тайны

Тальха б. Мухаммад Сабах ан-Нили — из числа великих сподвижников шайха Абу 'Усмана аль-Хири. Умер он в 302 году Хиджры.

Передают, что шайх Абу 'Усман аль-Магриби сказал ему:

— Хочешь, я дам тебе один совет? Вот уже пятьдесят лет, как я даю его людям, но никто его не принимает.

Он ответил:

— Хочу.

Тот сказал:

— Прошай тех людей, которые на тебя клевещут, пока они не оценят тебя по достоинству; принимай клевету от людей, пока сами они не поссорятся между собой.

Тальха принял этот совет и сказал:

— Благодаря этому наставлению я очень много для себя открыл.

100. Йусуф б. Хусайн ар-Рази,
да благословит Аллах его тайны

Йусуф б. Хусайн ар-Рази происходил из второго сословия суфииев. Кунья его Абу Йа'куб. Его называли шайхом Рея и Джикала. <...>

Умер шайх в 303 или 304 году *Хиджры*. <...>

Ваш покорный слуга сам слышал приводимое ниже повествование от исследователя божественных наук Мавлоно Мухаммада ат-Табадгани. Говорят, в Нишапуре жил один суфий, аскет и подвижник, за которым следовали лучшие люди того времени.

И, говорят, был у него друг, торговец, и этот человек отправился в далёкое путешествие. Но у него была служанка неописуемой красоты, которую он не мог взять с собой в путешествие, но и в городе боялся оставить, не доверяя людям. И вот он посчитал того суфия самым надёжным человеком, доверил ему красавицу, а сам отправился по своим торговым делам в путешествие.

Как только суфий увидел её, был тут же очарован ею и, одним словом, нарушил свою чистоту. Раскаявшись в своём падении, он совершил покаяние, пошёл в услужение к шайхам, рассказал им о своём страдании и спросил их о том, как можно избавиться от душевной муки.

Все советчики в голос повторяли, что вопрос этот сложен, им не под силу его решить и, значит, они не в состоянии ему помочь, вот разве что имам Йусуф б. Хусайн ар-Рази ему сможет помочь. Суфию ничего больше не оставалось, как отправиться в город Рей к шайху Йусуфу б. Хусайну ар-Рази на поклон и за решением своей проблемы.

Придя в Рей, суфий стал расспрашивать у людей об имаме, но все, кого ни встречал он, отвечали ему:

— Да он же неверный, какое дело может быть у тебя к этому безбожнику?

В конце концов он отыскал имама в полуразрушенном доме. Весь внешний вид его вызывал жалость, ибо он оброс волосами, которые лохмотьями свисали с его головы. Повернувшись лицом в сторону киблы, он сидел в потрёпанной власянице и читал Коран. Но как только имам повернул своё благословенное лицо в сторону суфия, так сразу же нарушенная тяжким грехом чистота вернулась в его сердце. Он тут же побежал к имаму, припал к его ногам, а затем обратился к нему с вопросом:

— Всевышний Аллах одарил тебя столь высочайшей степенью, так почему же ты ввергаешь себя в такое безумие и неопрятность, ведь когда спрашивают о тебе, то жители Рея отзываются о тебе как о неверующем и безбожнике?

Имам ответил:

— Именно потому я и избрал столь непрглядное состояние, чтобы какой-нибудь торговец не посчитал меня случайно надёжным человеком и не доверил мне на хранение свою красавицу-служанку.

Услышав эти слова, суфий пришёл в смущение, опустил голову и устыдился своего вопроса. Он попросил прощения у шайха и возвратился в Нишапур.

Так говорят люди, но Аллах знает лучше.

105. Захрун аль-Магриби, да благословит Аллах его тайны

Захрун аль-Магриби был выходцем из Тараблиса и одним из приближённых шайха Музффара аль-Кирманшаха. Утверждают, что, проводя время в долгих беседах о суфийском пути, они совершили паломничество в Мекку и не заметили тягот и лишений путешествия.

Шайх Абу 'Абд Аллах аль-Магриби говорил о Захруне:

— Среди благородных людей (суфииев) я не встречал более благородного, чем он.

Шайхуль-ислам рассказывал:

— Однажды в сообществе дервишей Захрун вышел на прогулку, чтобы посмотреть на праздничное зрелище, и услышал, как некто прочёл:

Та молния, слетевшая с небес,
сон небреженья из меня изгнала,
увидела душа и осознала:
здесь площади прекрасны и чисты,
благоустроены дома,
и это место, где сошёл Сальма.

Услышав эти строки, Захрун всплеснул руками и громко вскричал, словно его самого ударила молния, но затем пришёл в себя и сказал своим спутникам: «Вы идите, а я уже увидел своё представление».

107. Маймун аль-Магриби,
да благословит Аллах его тайны

Маймун аль-Магриби — из числа странников Магриба и ранних шайхов. Рассказывают, что он сопутствовал в путешествиях шайху Абу Мусе ад-Дабили.

Говорят, что шайх обладал удивительными мистическими состояниями и умением творить чудеса. И ещё говорят, что он был темнокожим, но, когда пускался в *сама*, лицо его неожиданно светлело.

Ему сказали:

— Твоё состояние во время мистического радения меняется.

Он ответил:

— Во время участия в *сама* и мистического опьянения эта перемена проявляется во мне так сильно, что я и сам поражаюсь. Если бы подобное проявлялось и у вас, тогда и ваши состояния были бы такими же глубокими, как у меня.

Рассказывают, что у шайха всегда с собой была дорожная торба и каждый раз, когда он что-нибудь хотел, он засовывал руку в эту торбу и вытаскивал из неё, что нужно.

И, говорят, это было не единственное чудо, подвластное святому Маймуну аль-Магриби.

Так говорили люди.

Но Аллах знает лучше.

113. Сахл б. ‘Али аль-Марвази,
да благословит Аллах его тайны

Случилось, что шайх Сахл б. ‘Али аль-Марвази пришёл домой к ‘Абд Аллаху аль-Мубараку и сказал:

— Почему ты нарядил и вывел на крышу своих служанок-певиц и не спускаешь их обратно?

‘Абд Аллах Мубарак спросил:

— А надо их спустить на землю?

Когда же Сахл вышел от него, шайх Мубарак сказал себе:

— Раз Сахлу довелось увидеть их у меня на крыше, значит, настало время уходить мне из этого мира, ибо нет у меня на крыше никаких певиц, а Сахл не станет говорить неправду.

И, воистину, это были райские гурии, которых послали встречать шайха аль-Мубарака.

Когда его сподвижник вошёл к шайху — тот уже умер.

У Сахла спросили:

Презентация

Рохинтон Мистри

Такое долгое путешествие

Фрагменты романа

С английского. Перевод Ирины Дорониной

Всё это было в холод,
В худшее время года
Для похода, да ещё такого долгого...¹

Т.С.Элиот. Паломничество волхвов

Когда старые слова замирают на устах,
новые рвутся из сердца; и там, где стезя
теряется, открывается новая страна чудес.²

Рабиндранат Тагор. Гитанджали

Рохинтон Мистри — известный канадский писатель, индийский парс по происхождению, родившийся в Бомбее (нынешний Мумбай) в 1952 году, финалист и лауреат многих национальных и международных премий, автор романов и сборников новелл. Вышедший в 1991 году роман «Такое долгое путешествие» вошёл в шорт-лист Букеровской премии и получил несколько других наград. Действие романа разворачивается в Бомбее начала семидесятых. На фоне бурных международных событий в регионе и политических — внутри страны роман повествует о судьбах жителей многоквартирного Ходадад-билдинга, членов бомбейской общины парсов. Семья банковского служащего Густада Нобла, их друзья, их окружение, все со своей собственной историей жизни, оказываются невольно и порой драматически вовлечены в эти события.

Предлагаемые вниманию читателей фрагменты романа печатаются с любезного разрешения издательства ACT, в котором он выходит в ближайшее время.

¹ Перевод Сергея Кирюты. (Здесь и далее прим. пер.)

² Перевод Н.А.Пушешникова.

Стена

Закончив первый круг опоясываний своим *кушти* и с удовлетворением убедившись, что оба конца пояса имеют одинаковую длину, он поднял, потом опустил плечи, чтобы *судра* удобно уселась на нём. Обратив лицо к небу и закрыв глаза, он начал молча, лишь шевеля губами, читать молитву Сарошу¹, когда обычные бытовые шумы дома потонули в рёве дизельного мотора. Грузовик? Несколько секунд мотор работал на холостом ходу, и Густад с трудом поборол искушение обернуться и посмотреть. Ничто не вызывало в нём большего неудовольствия, чем помехи в его утренней молитве. Невоспитанность, вот что это такое. Он же не обрывает грубо разговор с другим человеческим существом, так почему должен обрывать свой разговор с Великим Отцом Ормуздом²? Густад сморщил нос и продолжил молитву.

Когда он закончил, от ворот снова потянуло дизельным дымом, и, подойдя, Густад увидел приkleенное к столбу объявление. Блестящая масляная лужица указывала место, где останавливался автомобиль. Официальный документ, спущенный муниципалитетом, пучился от попавших под него воздушных пузырьков и комков клея. Прочитав его, Густад произвёл в уме кое-какие подсчёты. Эти чёртовы ублюдки совсем с катушек съехали. Зачем нужно расширять здесь дорогу? Он поспешил измерил расстояние шагами. Двор сузится больше чем на половину нынешней своей площади, и чёрная каменная стена, окружающая его, нависнет непосредственно над окнами жильцов нижнего этажа. Дом станет больше похож на тюремный лагерь, чем на человеческое жильё, они окажутся запертыми в клетке, как куры в курятнике или овцы в загоне, а дорожные и уличные шумы будут врываться прямо в окна. Не говоря уж о мухах, москитах и чудовищной вони — ведь бессовестные люди давно привыкли использовать эту стену в качестве общественного уличного туалета, особенно поздно вечером.

Впрочем, пока это лишь планы, ничего из них не выйдет. Разумеется, владелец дома не отдаст половину своего двора за «честную рыночную цену», которую предлагал муниципалитет. В нынешние времена трудно сыскать что-нибудь более бесчестное, чем правительенная «честная рыночная цена». Владелец, конечно же, обратится в суд.

В конце двора появился Хромой Темул. Он всегда держался подальше от мелии — одинокого дерева, росшего посередине двора, как будто боялся, что оно вытянет одну из своих ветвей и ударит его. В детстве он упал с него, пытаясь достать запутавшегося в его кроне воздушного змея. Мелия не была добра к Темулу, как к другим. Детям Ходадад-билдинга³ она помогала тем, что срезы с её веток оказывали успокаивающее действие на зудящую сыпь при кори и ветрянке. Напиток, который готовила

¹ Сарош, или Сраш — один из главных зороастрийских святых. В Гатах (Гаты — «песнопения» — наиболее значимая и почитаемая часть Авесты) основной функцией Сраша является распространение религии Ахура Мазды среди человечества, поскольку сам Сарош узнал о ней от самого Ахура Мазды.

² Ормузд — употребительное в европейской литературе имя высшего божества древних иранцев Ахура Мазды.

³ Название дома, в котором разворачивается действие, так называемый *чаш* — тип жилого дома, какие владельцы предприятий начали строить в Бомбее в начале 1900-х годов как экономное жильё для своих рабочих, своего рода «коммуналки» с общими туалетами на каждом этаже, рассчитанными на определённое количество квартир и открытыми общими коридорами-террасами.

из её листьев (истолчённых в ступке пестиком в тёмно-зелёную кашицу) Дильнаваз, способствовал нормальной работе кишечника у Густада все двенадцать недель, беспомощно проведённых им в постели. Слугам, разносчикам и нищим, проходившим мимо, прутики мелии служили зубной щёткой и зубной пастой одновременно. Год за годом дерево бескорыстно отдавало себя всем, кому требовалась его помощь.

Но Темулу оно не благоволило. При падении с него он сломал бедро и, хотя приземлился и не на голову, что-то случилось внутри неё в результате этого несчастного случая — подобно тому, как иногда во время землетрясения раскалывается дом, находящийся далеко от его эпицентра.

После падения Темул уже никогда не стал снова таким, каким был прежде. Родители не забирали его из школы, надеясь хоть как-то поддержать и спасти от изоляции. Работало это или нет, но мальчик был счастлив, с трудом ковыляя туда на своих маленьких костылях, и они платили за его обучение, пока администрация школы не отказалась держать его в ней дальше и вежливо не объяснила им, что для всех причастных было бы лучше, если бы академическая карьера Темула на этом закончилась. Теперь его родители уже давно были мертвы, и за них приглядывал старший брат, который работал кем-то вроде коммивояжёра и постоянно находился в разъездах, но Темула это ничуть не огорчало. В свои тридцать с хвостиком он по-прежнему предпочитал детскую компанию. Исключение делал только для Густада. По какой-то причине Густада он обожал.

Часто можно было видеть, как Темул регулирует движение вокруг дьявольского дерева, предупреждая детей, чтобы держались от него подальше, если не хотят пострадать так же, как он. Он больше не пользовался костылями, но часто расхаживал перед детьми взад-вперёд, демонстрируя в назидание им свою вихляющую походку и кривое бедро.

Дети, в большинстве своём, относились к нему хорошо, редко кто обижал его, пользуясь своим физическим превосходством. Предметы, оказывавшиеся в воздухе — всё, что свободно парило, взлетало, падало и трепетало, — приводили его в восторг. Будь то птица, бабочка, бумажный самолётик или сорвавшийся с дерева лист, он неустанно гонялся за ними, пытаясь поймать. Зная его увлечённость всем, что летает, дети иногда, завидев его, подбрасывали перед ним мяч, веточку или камешек, но так, чтобы он самую малость не мог до них дотянуться. Храбро преследуя летящий предмет, Темул обычно падал сам. Или посыпали перед ним футбольный мяч и, стоя сзади, наблюдали, как он ковыляет за ним. В тот самый момент, когда ему казалось, что он догнал, несогласованное движение его ступней подталкивало мяч дальше, и безнадёжное преследование возобновлялось.

Но в целом Темул прекрасно ладил с детьми. Не хватало терпения выдерживать иные его раздражающие привычки взрослых. Он любил провожать людей: от дворовых ворот до входа в дом, вверх по лестнице, до самой двери. И всегда, пока дверь не закроется, — с широкой улыбкой на лице. Некоторым это так докучало, что, прежде чем войти в ворота, они выглядывали из-за столба, чтобы убедиться, что путь свободен, или ждали, когда Темул повернётся к ним спиной, чтобы проскочить незамеченными. Находились и такие, которые кричали на него и гнали, размахивая руками, пока до него не доходило, чего от него хотят; в этих случаях он выглядел крайне обескураженным, поскольку не понимал, почему так.

Ну и наконец: слова кущего лексикона Темула вылетали из него с головокружительной скоростью и со свистом проносились мимо ушей слушателя. Как будто внутри у него имелось некое устройство, компенсирующее медлительность

ног скоростью языка. Результат же был плачевным как для говорящего, так и для слушающего. Густад, один из немногих, мог разобрать, что он говорит.

Когда Густад возвращался с работы, вонь вдоль чёрной стены была невыносимой. Невоспитанные люди никогда не поймут, что эта стена — не общественный туалет, думал он, вскидывая руки, чтобы отогнать мух и москитов. А ведь сезон москитов ещё и не настал. Густад зверел от нашествия москитов, которое неизменно случалось после заката.

— Невежественных свиней, которые мочатся на улице, следовало бы расстреливать на месте! — воскликнул, бывало, его друг и сосед майор Джимми Билимория. Или: — Надо взорвать эту чёртову стену динамитом — где они тогда будут гадить? — Это последнее замечание свидетельствовало о крайней степени его отчаяния, потому что стена была ему дорога.

Давно, когда майор Билимория ещё только поселился в Ходадад-бильдинге, когда подача воды была неограниченной, а молоко с парсийской молочной фермы — жирным и доступным для всех, в городе начался строительный бум. Не обошёл он стороной и окрестности Ходадад-бильдинга: вокруг него стали расти высотки. Первым, чего лишились жители дома, был солнечный заход: на западной стороне возвели офисное здание. Хотя в нём было всего шесть этажей, этого оказалось достаточно, потому что в Ходадад-бильдинге было только три, дом был приземистым и длинным: по десять квартир в ряд, нагромождённых друг на друга на трёх уровнях, с пятью подъездами и лестничными проёмами — по одному на каждый примыкающий блок квартир.

Вскоре после этого строительство началось и с восточной стороны. Для всех тридцати семи квартир семиэтажников стало ясно, что это конец эпохи. На их счастье, строительство растянулось более чем на десять лет: то не хватало раствора, то возникали проблемы с рабочей силой и оборудованием, а однажды обрушение целого крыла из-за использования некачественного «левого» цемента привело к гибели семи рабочих. Детвора из Ходадад-бильдинга, которая ринулась на строительную площадку поглязеть на образовавшееся на земле тёмное пятно, в ужасе решила, что это то самое место, где погибли семь человек, и что пятно — это их кровь, просочившаяся на поверхность. Отсрочка строительства дала жителям Ходадад-бильдинга передышку, и мало-помалу они смирились с изменившимся ландшафтом.

С увеличением интенсивности движения и плотности населения чёрная каменная стена приобрела ещё более важное значение. Она осталась единственным гарантом приватности, особенно для Джимми и Густада, которые на рассвете совершали свой молитвенный обряд с повязыванием пояса веры *кушти*. Стена высотой в шесть футов тянулась вдоль всего двора, укрывая их от глаз инаковерцев, пока они молились, обратившись лицом к занимающемуся на востоке свету.

Но чёрт с ней, с приватностью, чёрт бы побрал эту стену, чёрт бы побрал эту вонь, думал теперь Густад. Они покупали «Одомос» тюбик за тюбиком, втирали его во все открытые части тела, но проклятые москиты продолжали жужжать, кусать и сводить с ума. По загадочной причине мазь наименее эффективно действовала на Густада. Полночи он чесался, прихлопывал москитов, и ругался. <...>

Наступал вечер, но Хромой Темул был во дворе.

— ГустадГустадГустад! — Под мышкой у него была пачка бумажных листков, в руке он сжимал шариковую ручку. — ГустадГустадподождиподожди. —

Размахивая листками, он приблизился к Густаду настолько быстро, насколько позволяла его перекатывающаяся и подпрыгивающая походка. — ВажноГустадоченькоуважно.

— Не сейчас, Темул, — сказал тот, — я занят.

Наверное, какая-нибудь чушь, которую навязали бедному парню, подумал он, вспомнив, как Шив Сена¹ наняла его распространять расистские буклеты, направленные против бомбейских меньшинств. Они пообещали ему мороженое в шоколаде «Квалити чок-о-бар», если тот хорошо выполнит задание. Возвращаясь из банка, Густад увидел тогда, что его вот-вот избьёт группа разъярённых индийцев-южан, работавших в офисном здании на их улице. Густад попытался было им объяснить, в чём дело, но они и его приняли за врага, поскольку хотел защитить агента Шив Сены. На счастье в этот момент домой, в Ходадад-билдинг, возвращался из полицейского участка инспектор Бамджи. Увидев Темула и Густада в окружении враждебно настроенной компании, он остановил своего «короля дорог»² и посигналил. Нападавшие заметили полицейскую форму и разбежались прежде, чем инспектор Бамджи вышел из машины. Позднее Густад предостерёг Темула, чтобы тот не брал ничего у незнакомцев.

Сейчас он старался говорить спокойно и терпеливо, чтобы унять возбуждение Темула:

— Я вернусь через полчаса. Приходи, тогда и прочтём, что там у тебя. — Должен же хоть кто-то присматривать за несчастным юродивым.

Петицией оказался ответ хозяина дома на письмо из муниципалитета с подробным объяснением того, какие трудности ждут жителей дома, если площадь двора будет урезана. В сопроводительном письме-обращении к квартиросямщикам хозяин призывал подписать петицию, тем самым выразив своё несогласие с пагубным планом городского руководства, и объединить усилия, чтобы воспрепятствовать его осуществлению.

— СлушаюслушаютГустадаслушаюоченьоченьвнимательно.

— Разнеси эту петицию по всем квартирам. Понял?

Темул энергично закивал.

— Всемсемквартирамвсемвсем.

— По одному экземпляру на каждую квартиру. Скажи, чтобы внимательно прочли и подписали. И говори медленно. Сказал одно слово — остановись, потом — ещё одно слово. Медленно. Ты понял? Медленно.

— ДадададаГустадмедленномедленно. СпасибоспасибоГустад.

* * *

После короткого ночного дождя, добродушного предвестника муссона, листья на розовом кусте, посанженном Густадом под своим окном, были зелёными и свежими. Он не уставал удивляться выносливости розы, тому, как она год за годом стойко выживала на крохотном пыльном клочке земли несмотря на решётки автомобильных радиаторов, мявших и ломавших её стебли, и на детей, бессмысленно обрывавших цветки.

¹ Индийская националистическая ультраправая политическая партия, основанная в 1966 году.

² Индийский автомобиль Hindustan Ambassador, с 1957 года производившийся заводом «Хиндустан моторз» на базе английского «Моррис Оксфорд III», считался полностью индийским автомобилем и неофициально с нежностью величался «королём дорог Индии».

София Каранджиа

Сахар в молоке

Агъяри

Существует красивая легенда о том, как зороастрийцы-парсы-парси были приняты в Индии, куда они пришли из Персии (древнее Персидское государство располагалось на территории современных Ирака, Ирана и других стран), спасая свою религию, традиции и главную ценность — священный огонь. Сами парсы любят и постоянно рассказывают эту легенду.

Первой остановкой парсов в Индии стал портовый город Санджан в южном Гуджарате, а первыми жилищами — пещеры. Согласно легенде эти земли принадлежали радже Джадхав Рана, который прославился как мудрый и добный правитель. Не имея возможности поприветствовать чужестранцев на их языке и сообщить им, что здешняя земля уже до краев заполнена людьми, он послал им полный стакан молока. Зороастрийские священники тоже не знали языка местных жителей, но поняли послание без слов. И в ответ решили отправить такое же метафорическое сообщение: они просто добавили в молоко сахар. Это означало: мы миролюбивые религиозные люди, которые обещают делиться своими знаниями и упорно трудиться, чтобы сделать эту землю и общину еще более процветающими. Раджа Джадхав Рана был настолько впечатлен этим ответом, что предоставил им убежище, приветствовал их дарами и помог обосноваться на новом месте.

В Санджане был построен первый в Индии зороастрийский храм (*агъяри*), и отсюда священный огонь начал передаваться во вновь открываемые храмы.

Никто, кроме самих зороастрийцев, не знает, как устроен зороастрийский храм внутри, так как вход разрешен только им. Снаружи все храмы выглядят по-разному, отражая влияния архитектурно-скulptурных и строительных традиций Персидской империи и Индии.

Храм включает в себя несколько залов:

- обязательное пространство сразу около входа, для омовения рук и лица;
- небольшое отгороженное место для надевания *касти* (таких комнат может быть и две: для женщин и мужчин, если позволяет место);
- зал для молитв со стульями и скамьями;

¹ Каранджиа София Тарасовна — окончила РГГУ, кандидат искусствоведения, индолог — специалист по культурному наследию Индии. Читала курс «История искусства Южной и Юго-Восточной Азии» в РГГУ, с 2008 года — преподаватель Academy of Architecture and SID Rachana Sansad, Sir J.J. College of Architecture, Мумбай. Автор многих публикаций по индийской культуре и архитектуре. Организатор культурно-образовательных программ для детей и взрослых. Член Исполнительного комитета Музейного общества Мумбая (Бомбея).

— алтарное пространство с центральным подиумом для сосуда со священным огнем, прямой доступ к которому разрешен только служителям культа — верующие могут лишь смотреть на него через открытые арочные проемы из молитвенного зала.

Огонь в храмах должен гореть постоянно, поэтому для его поддержания священник с семьей, иногда два священника с семьями, живут на храмовой территории. Днем и ночью они следят за огнем и пять раз в день читают специальные молитвы.

Верующие, прия в храм, обязаны омыть руки и лицо и вновь повязать касти, произнося специальную молитву. Также они могут купить кусочки сандалового дерева для священного огня и оставить их в специально отведенном месте. Позднее те будут подложены священниками в огонь.

Особенно многолюдно в храмах огня бывает за десять дней до наступления зороастрийского Нового года, который приходится на первую половину августа. В эти дни парсы заказывают поминальные службы по родственникам, а многие устраивают в храмах поминальные столы с угощениями. Они верят, что в эти десять дней души умерших возвращаются на землю.

В день Нового года все парсы стремятся попасть в храм, а если получается, то и доехать до священного города Удвада, где расположен главный зороастрийский храм Индии. В Удваду по возможности едут также после завершения свадебных торжеств или навджота¹.

Парсы обосновались в Индии, но не ассимилировались и не утратили своей самобытности, хотя очень многое из многоликой индийской культуры впитали, уважительно переработали и воспринимают уже как свое.

Согласно статистическим данным, община парсов невелика, но она никогда не претендовала на статус малочисленного народа со всеми вытекающими из этого экономическими и социальными привилегиями. Наоборот, парсы с их предпринимательскими способностями, будучи поставлены перед необходимостью выжить, стали основателями многих направлений в экономике (особенно в тяжелой промышленности, связанной с железнодорожным транспортом, и судостроении), науке и культуре Индии. Яркими примерами служат достижения династий Тата, Годредж, Вадия, Кама, Мистри и многих других.

В Индии парсы в основном живут в Мумбае и Пуне (штат Махараштра), куда перебрались когда-то вслед за португальцами и англичанами, в Сурате, Вадодре, Вапи, Ахмадабаде (штат Гуджарат), в Дели, в Бангалоре (штат Карнатака). За одного представителя общины парсов когда-то давно (время в Индии имеет свои особенности) я и вышла замуж, хотя никогда не планировала выходить замуж за индийца. О зороастрицах-парсах-парси я практически ничего не знала. Сфера моих профессиональных интересов затрагивала совершенно другой регион Индии — штат Бихар. Единственное, что было мне тогда известно об этих людях, это их неразрывная связь с историей Бомбея (тогда еще так назывался нынешний Мумбай, город переименовали в 1995 году), о которой прочитала в статье Тамары Глоба. Среди прочих она упоминала и знаменитого музыканта Фредди Меркьюри, парса по происхождению. За годы замужества и жизни в Мумбае мои знания об этой общине приобрели скорее «практический характер».

Парсы трудолюбивы и лояльны, поэтому — при прочих равных условиях — им всегда отдают предпочтение при приеме на работу. Но отдохнуть и отмечать праздники они тоже умеют и любят. В их жизни много поводов для празднования, но самыми важными являются *лаган* (бракосочетание) и *навджот*.

¹ Обряд посвящения в религиозную традицию.

Лаган

Надо сказать, что зороастрийцы — одна из немногих общин, где до сих пор осторожно относятся к бракам с представителями других конфессий, хотя в последние десятилетия смешанных браков становится все больше, особенно среди парсов, живущих вне Индии. Такое предубеждение во многом основано на многовековом стремлении сохранить свою веру и обычай. Религиозная традиция и ее наследование передается по линии отца, поэтому дети получают все права в зороастрийской общине и считаются парсами, если семья будущей жены не настаивает на других вариантах. Жена парса, которая исповедует другую религию, не имеет права входить в зороастрийские храмы; для них и других родственников-иноверцев отведены специальные места и в молельных комплексах при дунгарвади (башнях молчания — погребальных комплексах зороастрийцев). В случаях, когда женщина-парс решает выйти замуж за представителя другой конфессии, она лишается всех значимых религиозных прав, в том числе права входить в зороастрийский храм. Ее дети автоматически унаследуют религию отца, а она не будет похоронена согласно зороастрийской традиции. И если другие аспекты являются преодолимыми — некоторые женщины молятся и совершают свои обряды дома, и для смешанных семей несколько лет назад даже был открыт храм в Пуне, хотя ортодоксальная часть общины не приветствовала этого начинания, — то вопрос о невозможности погребения по зороастрийскому обычай до сих пор остается болезненным.

Но вернемся к бракосочетанию. Свадьбы парсов значительно отличаются от обычно многодневных пышных индийских бракосочетаний. Парсийские свадебные обряды — это ритуалы и традиции, традиции и еще раз традиции, которые сложно или невозможно даже немного видоизменить. И в этом тоже есть своя прелесть.

Кто-то предварительно проводит празднование помолвки. Это может быть и отдельно организованный банкет с обедом или ужином для большого круга родных и друзей. А может — праздничный обед для небольшой группы родственников, в таком случае это происходит прямо накануне свадьбы. Но предваряют всё официальная встреча семей будущих молодоженов и ритуал благословения, во время которого будущие супруги получают символические подарки в виде кокоса, монет, новой одежды, их головы посыпают рисом и на лоб обоим наносяттику (небольшое красное пятно, которое может иметь разную форму) красной пастой кумкум. В этот день утром готовятся особые праздничные сладкие блюда: *сев* (вермишель, сваренная в сахарном сиропе с добавлением изюма и орехов) идахи (вариант йогурта-простокваша с сахаром и орехами).

Кстати, эти блюда уместны для всех праздничных дней, их готовят и в дни рождения, и на Новый год. Их принятоносить соседям и родным, чтобы те тоже разделили вашу радость.

Рано утром дома будущих новобрачных и их родителей украшают цветочными гирляндами, а землю с левой и правой сторон, на въезде в жилой комплекс, у входа в здание и пол у входа в квартиру — благопожелательными узорами из белого и цветных порошков чок (мел). Эта традиция была заимствована у жителей Гуджарата давным-давно, причем сами гуджаратцы Мумбая ей уже практически не следуют. Парсы же до сих пор украшают входы в свои жилища и даже переходы из комнаты в комнату каждый день. Для праздников и семейных торжеств создаются специальные мотивы этих напольных узоров, приобретающие особый благожелательный и охранительный смысл.

Доминирующим цветом свадьбы традиционно является белый с небольшими вкраплениями золотого и красного: это и наиболее предпочтительные цвета

для свадебных приглашений, цветочных гирлянд, свадебного декора и свадебной одежды невесты и жениха.

Невеста надевает богато украшенное вышивкой шелковое, шифоновое или кружевное белое сари — *парси гара*. Собственные украшения во время ритуала она может дополнить украшениями, подаренными семьей будущего мужа. Но главным отличием замужней зороастрийской женщины является один широкий или два узких красных стеклянных браслета.

Свадебный костюм жениха состоит из *дагли* (белого удлиненного пиджака с бантиками-бабочками вместо пуговиц) и *фетаха* (традиционного черного головного убора). Такой же наряд мужчина надевает в день навдхжота своих детей и позже на их свадьбы.

Не существует специальных магазинов, где можно выбрать свадебное одеяние для парсов. Всё делается индивидуально специальными портными, мастерами по изготовлению фетов и вышивальщиками сари для парсов. Таких мастеров немногого. Это семейные мастерские, которые располагаются в районе Форта и Черни-роуд.

Все ритуалы должны быть закончены до захода солнца, примерно до 18 часов, поэтому семья и близкие приезжают в храм к трем-четырем часам дня.

Сначала мать невесты и мать жениха поочередно совершают перед женихом и невестой благопожелательные и охранительные манипуляции — с кокосом, сырым яйцом, рисом и финиками, — после чего окропляют их от слеза водой.

Затем все перемещаются в храм, и к главному ритуалу приступает *дастурджи* (зороастрийский священник). Жених и невеста садятся лицом друг к другу, по обе стороны от них стоят лампы. Священник произносит клятву на фарси, и пара повторят слова за ним. Затем он просит жениха и невесту подтвердить их желание создать семью, после чего происходит обмен обручальными кольцами, и брак считается заключенным.

К моменту окончания официальной части съезжаются гости, и начинается заключительная часть — праздничный ужин.

Приглашения родственники и друзья получают заранее — это небольшие конверты с карточками. Их следует заполнить — подтвердить свое присутствие на свадьбе и ужине, указать количество гостей, предпочтительную кухню — и отослать обратно приглашающей стороне. Предварительно необходимо выбрать и зороастрийские блюда: вегетарианские или невегетарианские. В зависимости от вкусов приглашенных в список могут включить вегетарианское *тали*, джайнское *тали* и даже *тали* для веганов.

Зороастрийский праздничный ужин — это ужин за столами с сервировкой блюд на пальмовых листьях. Как правило, первая рассадка начинается в восемь вечера, за ней следуют еще две. В третью, последнюю, очередь едят сами новобрачные и их ближайшие родственники. Зороастрийское праздничное меню включает самые знаменитые блюда, которые не готовят каждый день. Все они состоят из множества ингредиентов и требуют времени на приготовление. Это кисло-сладко-островатое чатни из моркови и сухофруктов с *чапати* (тонкие лепешки из муки грубого помола, приготовленные на огне), *патра-ни-маччи* (морская рыба помфret, маринованная в кисло-сладко-острой пасте из мяты, кориандра и зеленого чили, завернутая в банановый лист и приготовленная на пару), *сали чикен* или *сали маттон* (курица или козлятина, приготовленная в томатно-сливочном соусе с жареным картофелем), плов или бирiani из курицы или козлятины со знаменитым *дхансак даалом* (блюдо из смеси бобовых, овощей и набора специй, приготовление которого с нуля занимает до пяти часов).

Количество рыбы, курицы и мяса должно быть достаточным для всех приглашенных, поэтому гостей и просят заранее сообщать об их предпочтениях.

Завершается трапеза обязательными десертами: карамельным суфле, мороженым, манговым, клубничным или шоколадным *кульфи* (мороженое из топленых молочных пенок).

Приготовлением ужина и его организацией занимаются специальные люди, тоже парсы. Таких знаменитых иуважаемых организаторов банкетов для парсов в Мумбаи всего несколько. Как правило, это тоже семейные компании, которые ревностно охраняют свои рецепты и поставщиков.

Еда — одна из любимых тем для дружеских бесед парсов, поэтому, получив приглашение на свадьбу или *навджод*, парс прежде всего поинтересуется: «Кто готовит еду?»

Навджом

Навджом — это ритуал, который знаменует принятие человека в зороастрийскую религиозную общину и торжественное надевание *содры*, или *седре* (натальной хлопковой рубахи свободного покроя с короткими рукавами и V-образным вырезом, заканчивающимся крошечным кармашком), и *касти* или *пуши* (сплетенного вручную тонкого шерстяного шнура, завязанного на талии), которые с этого момента становятся обязательными для ношения.

Термин «*навджом*» используется в основном зороастрийцами Индии (парсами) и зороастрийцами, переселившимися в другие страны, — это видоизмененная комбинация слов, пришедших из языков фарси и гуджарати, которая означает «новый читающий молитву», «призывающий», «приносящий жертву». В Иране зороастрийцы называют этот ритуал *седре пуши*, что в переводе с фарси значит «надевание седре».

В отличие от христианской традиции, когда крещение проводится (или желательно проводить) практически сразу после рождения, *навджом* совершают, когда ребенок уже достаточно взрослый, чтобы читать и запоминать молитвы, и имеет представление о своей религии. Родители или родственники стараются провести этот ритуал до достижения девятью половой зрелости: для мальчиков предпочтительно — до 10 лет, для девочек — еще раньше. Хотя существуют precedенты, когда ритуал проводился для взрослых людей.

Важным этапом на пути подготовки к *навджому* является ознакомление детей с историей и традициями зороастризма, изучение и заучивание основных молитв на гуджарати или даже на фарси, если удастся найти учителя — священника, который владеет этим языком. Сейчас все больше и больше людей (верующих, не священнослужителей) молятся на английском, не все знают гуджарати, а тем более фарси, в достаточной мере, чтобы читать молитвы.

Часто подготовка занимает до полугода, а может длиться и целый год. Обучение может быть «формальным»: дети ходят на уроки или участвуют в специальных программах, организованных общиной; иногда крупные храмы инициируют такие занятия, если собирается большая группа детей. Но значительную часть навыков поведения в храме, знания молитв и ритуалов дети постигают в семье, копируя родителей и взрослых родственников. Религия занимает важное место в жизни зороастрийцев, хотя внешне они кажутся менее религиозными по сравнению с другими жителями Индии.

День и место проведения *навджома* очень важны. Учитываются рекомендации зороастрийского календаря, но наличие удобного (нерабочего) и свободного дня тоже важно. Так как большинство семей устраивает и традиционное застолье, выбирается храм, при котором есть место для организации ужинов. Как правило, это открытые площадки. Традиция празднований на открытом воздухе ограничивает время

проведения таких мероприятий, пик их обычно выпадает на ноябрь — конец марта, когда муссоны прекращаются и приходит относительная прохлада.

И вот наступает этот важный день. Семья и самые близкие родственники собираются в храме. Сначала священник совершает очистительный ритуал, давая будущему члену общины выпить священной воды с каплей *taro* (моча священной коровы) и съесть кусочек листа бетеля.

Затем ребенка отводят для очистительного омовения и одевают в специально сшитую для этого дня одежду: шапочку (*parsi topi*), шаль, закрывающую верхнюю часть тела, белые хлопковые или шелковые брюки прямого покрова (*lega*) и кожаные шлепанцы с бархатным верхом (*conam*).

Родители сопровождают ребенка на подиум перед храмом, где уже все подготовлено к главной части ритуала. Сидят священники, стоит широкий серебряный сосуд, в котором горит огонь, а рядом — поднос со смесью кокосовой стружки, зерен граната, изюма, миндаля и цветами, символизирующими процветание. Всем этим ребенок будетсыпан после церемонии. На втором подносе лежат содра и касти.

Уже на подиуме мать или одна из ближайших родственниц под руководством главного священника проводят ритуал благословения с использованием яиц, кокоса и риса. После этого священник торжественно надевает содру на ребенка и в первый раз повязывает ему касти. Действие сопровождается произнесением молитв священниками и ребенком.

Затем посвященный садится на пол, его украшают гирляндой из лепестков белых и красных роз, а священник произносит особую молитву-благословение, в которой имя ребенка упоминается уже как имя прошедшего обряд инициации, к нему с этого момента добавляется «приставка» *бехдин*, «последователь [хорошей религии]». Если ребенок происходит из семьи священников, то к его имени добавляют «приставку» *оста*, если это мальчик, или *ости*, если девочка.

Священное действие заканчивается примерно к шести часам вечера, и начинается светская часть: гости поздравляют семью и участвуют в праздничном ужине.

В этом году самая популярная шутка среди парсов: «Пишут, что наша община вымирает, но это невозможно! Все банкетные залы и места для зороастрийских свадеб и навджотов в Мумбае забронированы на год вперед!»

Индия, Мумбай, 2022 г.

Парсы в Индии. Фото Софии Каранджаиа

Существует красивая легенда о том, как зороастрийцы-парсы-парси были приняты в Индии, куда они пришли из Персии (древнее Персидское государство располагалось на территории современных Ирака, Ирана и других стран), спасая свою религию, традиции и главную ценность — священный огонь. Самы парсы любят и постоянно рассказывают эту легенду.



*Х.Д. Сахер агъари, Мумбай.
Храм украшен к торжеству*



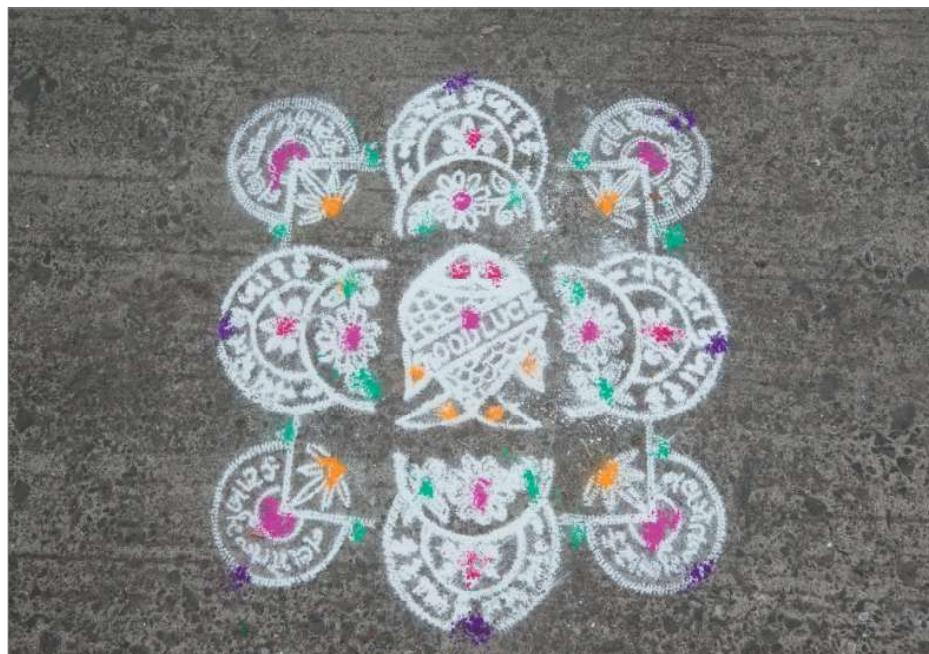
Манекджи Сетх агъяри, Форт, Мумбай



Священный город Удвада и главный зороастрийских храм



Atash, священный огонь



*Ритуальный благопожелательный и охранительный узор на земле,
выполненный из меловых цветных порошков*



Ритуальный поднос для наевджома



Поднос с касти и содрой



Три поколения мумбайской зороастрийской семьи:
Персис Драйвер, Арнаваз Драйвер, Махин Кхамбатта



Три поколения мумбайской зороастрийской семьи Каранджия



Обряд бракосочетания Рукшин и Фарханга Вакшур



Навджом — обряд посвящения в зороастрийскую религиозную традицию



Кайзад Патель,
один из лучших организаторов зороастрийских традиционных банкетов



Знаменитый набор зороастрийских блюд — *парси бхона*

Книжный развал

Ольга Гертман

Братом быть и музыки, и огня

О чём бы ни писал Сергей Пагын (в этой книге — по крайней мере), он, в сущности, пишет об одном — с редкостной настойчивостью, можно было бы сказать — одержимостью, если бы это не контрастировало так с его принципиальной меланхоличностью,держанностью, почти рассудочностью: о хрупкости человеческого существования, о прозрачности его, о просвечивании сквозь него смертности, умирания, смерти, об отношениях человека с неотделимыми друг от друга (может быть, не так уж друг от друга и отличимыми; во всяком случае, настоятельно требующими друг друга) временем и вечностью.

В одном из нескольких небольших предисловий к «Спасительному каштану» поэт и литературный критик Ольга Девш говорит о его поэзии как об «эсхатологической». Это не то чтобы совсем точно, — эсхатология, если воспринять это слово буквально, занимается конечными судьбами мира и человека уже по ту сторону земного времени, Пагын же с земным временем, напротив того, в полном и чутком контакте, — но, пожалуй, это одно из наиболее точных слов, произнесённых до сих пор о том, что он делает (он действительно занят вещами предельными, основами существования). И если уж подбирать его стихам место на поэтической карте, их стоило бы назвать, скорее, метафизическими (отчего они не перестают, однако, быть тончайшей лирикой — поэтической хроникой именно личного,

эмоционального, чувственного контакта с этими пределами).

Критиками о Пагыне написано на удивление немного, я бы даже сказала, что почти ничего. В тех же предуведомлениях к его сборнику поэт и редактор Надежда Кондакова назвала голос Пагына «новым» и пожелала читателю этот голос запомнить, — но ведь это уже шестой поэтический сборник пятидесятитрёхлетнего автора! Неужели до сих пор не услышали и не запомнили? Кстати, невозможно исключать, что так оно и есть: критических статей о его поэтической работе обнаружить почти не удалось. Кроме нескольких вступлений к «Спасительному каштану», включая уже процитированные (все они — скорее эссеистически-образные, чем анализирующие, но тонкие замечания в них есть: «...Вот лёгкое дрожанье новорождённых листьев, вот шуршанье — опавших, отчёлливое бельканто невидимого в лесу ручья, однотонный звук застывших в воздухе стрекоз», — Надежда Кондакова; «...Внутренняя свобода соединяет в его поэзии печаль и радость бытия в неразрывную картину времени», — Даниил Чкония; «Когда знакомишься с тем, что делает в поэзии Сергей Пагын, возникает целый хоровод оптических иллюзий: малое становится значимым, призрачное — осязаемым, реальность растворяется, как сахар в блюдечке кипятка», — Евгения Джэн Баранова) да тринацатилетней давности вреза к публикации стихотворений Пагына в молдавской газете «Ведомости», написанного Михаилом Потораком, где опять же много похвал, да не очень много анализа, хотя некоторое его количество всё-таки есть («Поэзия Пагына — исключительное явление

Сергей Пагын. Спасительный каштан. — Кишинёв [издательство не указано], 2022.

в современной литературе Молдовы. Стихи его завораживают, восхищают, вызывают острейшее сопереживание. Обыденное и божественное, величое и бесконечно малое — в творчестве Сергея все вещи мира равнозначны. Они — суть части единой гармонии¹), нашёлся единственный текст — большое эссе — Николая Васильева на сайте proza.ru, где предлагается подробный разговор о его поэтической работе, её особенностях и задачах² (фрагмент из него взят в качестве одного из микровступлений к ныне рецензируемой книге). Кажется, это всё.

Попробуем восполнить недостающее и рассмотреть, как устроена эта поэзия и позиция, лежащая в её основе.

Сергей Пагын занимается, строго говоря, тем, что философы моделируют понятийными средствами, только он разбирается с тем же самым средствами исключительно лирическими. И это — при всей неотменимости упомянутых в самом начале лейтмотивов: смертность, умирание, смерть, — ни в коем случае не поэзия отчаяния. Скорее — внимательной и печальной благодарности.

Точка, из которой ведётся его наблюдение за реальностью и звучит его поэтическая речь, практически постоянно расположена так, чтобы чувствовать «ветер из нездешних мест», — на тонкой линии соприкосновения между бытием и небытием, между внутренним и внешним, между личным и вечным. Очень сдержаненный, говорящий неизменно тихим голосом, почти шёпотом, чуждый крику и пафосу, Пагын — именно поэтому — не стесняется слов максимально крупных (как, например, та же «вечность», встречающая нас уже в стихотворении, открывающем сборник, — значит, ключевом, знаком). Совершенно очевидно, что крупные слова для него не связаны ни с пафосом, ни вообще с какими бы то ни было формами исступления из повседневного. Он не просто ставит «вечность» в один ряд с предметами ежедневного обихода: «окном ночным», «рукавом висящей куртки», «бабушкиной торбой/ с пучками трав», —

¹ http://www.vedomosti.md/news/Poet_Iz_Moldovy_Sergei_Pagyn_Stal_Diplomantom_Prestizhnogo_Literaturnogo_Konkursa

² <https://proza.ru/2020/01/16/604>

он видит её через них — и, может быть, вернее всего через них, они, вместе со всей обыденностью, в которую погружены, часть которой составляют, — органы точнейшего её восприятия. Вечность, как и время, узнаётся и познаётся у него на ощупь.

«Пагын, — пишет Даниил Чкония, — не признаёт рамок, ограничений, правил». По всей вероятности, это лестно для поэта, и всё-таки есть основания возразить. Пагын не бунтарь — ни на одном из уровней восприятия и высказывания, рамки и правила — как оберегающие человека начала — он чувствует очень точно, обращается с ними внимательно и осторожно и именно что вписывается в них. Тут скорее можно согласиться с Николаем Васильевым, вообще говорящим многое точного и сказавшим, в частности, своим поэтическим языком, что у Пагына «все ветры мысли, поступков, событий гасятся. Поэт не даёт им разбушеваться, внести хаос — усмиряет и приручает их». Отношения Пагына, человека безоговорочно принявшего сторону космоса против хаоса, с правилами и рамками легко понять уже по внешнему облику его стихотворений: он подчёркнуто традиционный, можно даже сказать — несколько архаичный, такие стихи могли бы быть написаны в семидесятых, восьмидесятых годах минувшего столетия с их прилежным ученичеством у XIX века, — может быть, вообще человеком поколения Арсения Тарковского, который, кстати, не раз вспоминается при чтении этих стихов, много родственного в интонациях. Васильев вспоминает в связи с Пагыном Тарковского-младшего — говоря, что его мысль «тягуча <...> как пролитое молоко Тарковского», в этом есть правда — визуальный ряд поэзии Пагына действительно очень сопоставим с фильмами Андрея Тарковского, с его медленным вниманием к деталям, каждая из которых и самоцenna, и символична одновременно (говорю же — семидесятые, восьмидесятые, — воспринятые росшими тогда — а Пагын, родившийся в 1969-м, как раз из них, — если и не как сама вечность, то как некоторое «всегда», как само естество вещей), но слышен и печальный старший. Теми, кто воспитывался на стихах последних советских десятилетий, облик его стихов (будучи, разумеется, лишь одним из бесчисленных видов поэтической

условности) воспринимается как очень естественный, поскольку хорошо укладывается в изначально сформировавшиеся ожидания. Пагын этих изначальных ожиданий не ломает и не обманывает (при этом чего у него точно нет, это поэтических штампов и вообще закосневших ходов мышления, чувства и воображения; умение быть индивидуальным внутри как бы традиционно выстроенной формы — это высший пилотаж; из поэтов, более-менее принадлежащих к поколению Пагына, такое умеет, например, Сергей Шестаков, — тоже, кстати, лирик-метафизик). Простейшие, почти до наивности, рифмы: «разместился» — «явился», «грызня» — «возня», «траве» — «голове», «пороге» — «тревоги», «жить» — «кружить», «небо» — «хлеба»... Иногда подумаешь: бедная, аскетичная поэзия (это не совсем так, но иногда и так). Рискну предположить, что это принципиально и достигается некоторым усилием: поэт намеренно избирает для своих высказываний такую смиренную, не бросающуюся в глаза форму, чтобы она не перетягивала на себя внимания, чтобы неотделимые друг от друга мысль и чувство могли оказаться как бы сами по себе.

Теперь рассмотрим, каковы же эти мысль-и-чувство, что за образ мира они дают.

Пагын постоянно и остро чувствует трагичность человеческого существования, то, как прямо на глазах «жизнь источнется, словно ткань/ висящих в свету рубах». Он постоянно об этом говорит, во всём видит свидетельства этого, — так, повторениями, шлифуют стёкла, делая их всё более прозрачными и ясными. В этот сборник вошли стихи, написанные за последнее десятилетие, значит — с сорока трёх до пятидесяти трёх лет. То, о чём тут речь, — это возраст души в её отношениях с мирозданием, вертикальный — от основ до небес — взгляд человека, входящего в старость, взглядающегося в неё на самой её заре, и если подбирать его стихам соответствие среди природных состояний, то их время — осень, чаще всего — поздняя, безлистенная («Ты стоишь на краешке ноября, / чуя сердцем взгляд — то стальной, то нежный. / Это бездна всматривается в тебя...»), похожая на раннюю весну, полная тем же светом, у них «осенний быт», родной брат бытия: «И всё чаще различает глаз/ за весною то, что остаётся —/ бытия чернеющий каркас, / пустоту, / беспамятство, / сиротство». А то и зима, диктующая определённую этику: «А ты живи в согласии с

зимой, / будь чист и ясен, холоден и честен». Это время внутренней тишины: «И душа твоя, что прозрачный шар, / тишина невестой стоит внутри». Он говорит о смерти почти в каждом стихотворении, даже если (особенно тогда) утверждает, что её нет. Он уже всматривается в последнее одиночество, когда «пойдёшь над тем, что так любил, / среди дымов, с трудом держащих небо», в то, что будет в конце всего, «когда испарится последняя тьма» (тогда-то и останется самое неуловимое — и самое главное: «...Тогда обнаружишь в остатке сухом/ земли невесомой светящийся ком/ и юный трепещущий воздух». Первые элементы существования.

Он исключительно внимателен к повседневности, ища в ней не красоты, не утешения («И нет мне утешения ни в чём!»), но именно её самой, такой, как есть, — неприглядной, неприбранной, как в «общарпанном ДК» с остановившимся там бродячим зоопарком — «и пожалеешь, что сюда явился»: «Тушканчики, шиншиллы, хомяки, / террариум с бесхвостой ананкондой, / скользнувшей в сон от страха и тоски/ под лампочкой замызганной и жёлтой». Он нежен к ней, неутончённой, и ловит в ней неосязаемое с такой точностью, что буквально осозает его — всеми органами чувств, и умеет назвать почти не имеющее имени. Он видит и слышит, например, как «Гений места селится в тишине/ и свистит, строгая корякий посох. / И пчелиным воздухом по весне/ наполняет здешние абрикосы». Не переставая быть и неприглядной, и неприбранной, и неутончённой — никаких сентиментальных идеализаций! — повседневность для него насквозь чудесна. Не в том смысле, что хороша, а в том, что в любом своём виде, а в бесприютном особенно, открыта иномирным силам, тому самому «ветру из нездешних мест», и он может прорваться в любой точке — да и прорывается.

И плачет тонкокожая душа,
обёрткою конфетною шурша —
из детства — с незабвенным Гулливером.
И хочет беспризорная она
не знания, где свет и тишина,
а бестолковой жалостливой веры.

От непосредственно осозаемой повседневности у Пагына прямой переход к метафизике и последним вещам, от бытового времени — сразу к космическому, времени «среднего», исторического — практически нет.

История — с её политикой и географией — убрана. Всю жизнь живущий в молдавской глубинке (если об этом не знать — не догадаешься — разве что по «стеблям кукурузы в глубине двора» его детства) поэт совсем не проблематизирует и вообще не делает предметом внимания ни страны своего происхождения — Молдовы, ни страны своего языка — России, ни больших городов с их событиями, всё это неважно — важны только те ближайшие, взятые максимально крупным планом обстоятельства, которые, строго говоря, могли бы быть прожиты во всей своей полноте где угодно — да и когда угодно: ветви, яблони, ласточки, пчёлы... (Из примет современности — разве только ЖЖ, да и тот, кажется, уже почти в прошлом — а значит, во всевременны: «Она в ЖЖ выкладывает сны...»; из географии — только имена городов, в которые играли в детстве: «Амстердам, Москва, Армавир...» — равно далёкие.) И это никоим образом не периферия: место, где располагается такой наблюдатель, — это самый центр. Иногда он смотрит прямо сквозь время как таковое («И тут понимаешь: времени просто нет», — говорит он, наблюдая за детьми в траве. Почти слово в слово он повторит это — «времени больше нет», — говоря о мёртвом человеке, у которого «сквозь запястья тихо растёт трава». В самых важных точках жизни и смерть смыкаются). Сматривает — и видит сиюминутное, во всей его именно сиюминутности и случайности, как архетипическое («...Если лишь подсолных этот, попавший в кадр, / птицы полёт, сияющий велосипед»). Глядя на последних осенних пчёл над ярко цветущей капустой, он — не переставая любоваться ими — думает о «пределах посмертных», и это — пчёлы и тени посмертия — не две разные темы, а одна.

Влюблённость в мир (несомненная!) никоим образом не означает для него безмятежности, скорее, как раз напротив, — даёт постоянную, фоновую тревогу: он «беду сканирует наперёд». (Можно ли тут говорить об упомянутой одним из критиков гармонии? — разве что как о взаимосоотнесённости, взаимочувствовании всего сущего, пронизанности его одними и теми же, объединяющими таинственными силами.) Уговаривает себя: «Может, не быть тревогу, а тихо жить —/ просто растить детей, поливать капусту...» Как будто в точности это он и делает (уж точно ничего не бьёт!) — только при этом всё время помнит, что «...несущий чашу, что для тебя, / вряд ли пройдёт поодаль и не заметит». Об истории

собственных чувств поэт говорит так: «Только всё острее и твёрже страх, / тяжелее воздух в студёных снах».

Ведущее его чувство — печаль, но столько же о себе, сколько обо всём живущем и об этом последнем — даже куда больше («свет чудесный/ на самом деле ты и есть», говорит поэт, но это скорей о природе человека как такового, чем о себе самом в его эмпирической данности — самим собой он точно не очарован и если как-то собой и занят, то по большей части — как точкой наблюдения). Впрочем, граница не очень и проводится, она проницаема, одно способно легко обернуться другим, и может статья, что в результате «бессмысленного» переселения душ «...в захолустье посреди зимы, свернувшись в ноль за веткой узловатой, / ты будешь греться, ускользая в сны, / в пустом ДК под лампочкой стояттной».

Пагину свойственна вполне внятная онтология, согласно которой всё сущее — и то, что приснилось, и то, что явилось воображению, и то, что помнится, и то, что можно взять в руку здесь-и-сейчас, — образует единый континуум и реально на каждом из его уровней: «...Я чувствовал, что едини/ ласточки, пролетающие во сне, / паданцы золотистые из корзины». «Сны и память входят в осенний быт» как непременные его составляющие, на равных правах с дымом, фасолью и виноградом. Он и сам хотел бы «братьом быть и музыки, и огня». Мне кажется, это у него получается.

В некотором важном смысле его стихи религиозны, но именем Божиим поэт не злоупотребляет, хотя иногда выговаривает его прямо, причём, казалось бы, по совершенно пустячным поводам: «Что тебе, мой Боже, Всесущий мой, / безделушку пёструю — да в зенит?!» (это о воздушном змее, который у них с сыном никак не взлетал), — и ставит эпиграф из Апокалипсиса к мирнейшей, счастливейшей сцене («Сын машет палкой, смеётся, чему-то рад, / дочка, присев, склонилась над муравьём» — и именно это заставляет поэта вспомнить слова Иоанна Богослова о том, что он «увидел <...> новое небо и новую землю»). Всё-таки не то чтобы у него все явления бытия «равнозначны», — скорее, каждое из них, независимо от своей величины и места в мироздании (или, скорее, — в точном соответствии с ними), имеет непосредственное отношение к жизнеобразующим силам. Поэтому возможно молиться о воздушном змее и держаться за спасительный каштан в кармане — и он удержит.

Григорий Кружков

Поэзия — она и с изнанки поэзия

Последняя книга Натальи Аришиной «Немилосердные лета» (изданная уже посмертно) состоит в основном из прозы — с добавлением небольшого раздела стихов последних лет. Проза поэта всегда что-то меняет в читательском представлении об авторе, придавая дополнительное измерение — не столько стихам, сколько образу поэта, порой укрупняя и подчеркивая его цельность, а порой поражая контрастом гениальности и заурядности.

У Иннокентия Анненского есть такая мысль: «...Кроме подневольного участия в жизни, каждый из нас имеет с нею, жизнью, лично свое, чисто мечтательное общение». Приводя эту цитату, Наталья Аришина пишет: «Будем считать, что мои тетради фиксируют “подневольное участие в жизни”, а мое “мечтательное общение” — это мои стихи».

Русские символисты были склонны отделять свои «мечты и грёзы» от «житейского шлака», от всего, что есть «изнанка поэзии», как говорил тот же Анненский. Но книга Аришиной дерзит, возражает любимому поэту: «Поэзия — она и с изнанки поэзия». Ее воспоминания — подтверждение этой замечательной фразы.

У меня на полке стоит большинство поэтических книг Натальи Аришиной, подаренных автором, в том числе три выбранные: «Сговор слов» (на двоих с мужем, поэтом Ильей Фаликовым), «Сто стихотворений» и «Общая тетрадь». Я пристрастен к музе Наташи, ее негромкому голосу, необщему выражению лица. «И как нашел я друга в поколеньи,/ Читателя найду в потомстве я», — писал Баратынский.

Наталья Аришина. Немилосердные лета: Стихи, проза, дневниковые записи. — М.: Время, 2023. — (Поэтическая библиотека)

О потомстве ничего не знаю; но здесь, по эту сторону подвижной границы, я принадлежал (и принадлежу) к числу ее друзей и благодарных читателей.

В стихах она более всего не любила жеманства, напыщенности и самозванства. В самых горьких ее строках нет не то что надрыва, — вообще никакого форсирования звука. Это явно не линия Марины Цветаевой; хотя в юности она и увлекалась ее стихами, и меня поразило количество перечисленных в ее книге стихотворений Цветаевой, которые она до последних лет помнила наизусть (я посчитал: тридцать шесть!).

Больше сходства, пожалуй, с Ахматовой среднего периода, — но без ее статуарности и ложноклассической шали. Лирическая героиня стихов Аришиной может быть занята готовкой, стиркой или походом на рынок, по-женски не чураясь никаких забот и трудов, — и одновременно думать о тысяче других вещей, летая, как в «Слове» сказано, «через поля и горы» — от античности до самой злободневной современности.

То же самое мы видим в ее воспоминаниях. Внимательность, пристальность этой прозы является выражением ее любви к вещам, окружающим человека, будь это дом, дерево или старый блокнот, — ко всей этой бедной утвари мира. Особенная нежность — к вещам с историей: «Я люблю отпечаток времени на предмете».

Зоркость взгляда и точность найденного слова. Чернильница деда, «хрустальный кубик со вставной ёмкостью и крышкой-куполком», чернила в ней — «такой густоты и фиолетовости, что они, высыхая на бумаге, отливали золотом», — все это мгновенно вспыхивает радостью узнавания и упреком собственной забывчивой памяти. Когда она

пишет про дом с мозаиками в Лебяжьем переулке, где жил Пастернак в своей каморке — «коробке с красным померанцем», — и про старый клен по соседству — с наростом, похожим на морщинистое лицо Уистена Одена, «излучающее особенное, одновоское обаяние мудрого английского алкаша, никогда не теряющего самообладания», — хочется немедленно бежать в Лебяжий переулок и проверять, всё ли так, всё ли на месте.

Главная часть книги — «Воспоминанья зарифмую» — прозаическая вещь со свободной композицией, наподобие «Улисса» Джойса. На первый взгляд, сравнение может показаться далековатым. Но Наташа любила такого рода «странные сближения», без них (писала она) «нельзя плыть в океане литературы мировой, получится лишь беспомощное барахтанье».

В чем же мне видится параллель? Может быть, в желании соединить вместе столько разнородного — весь этот бестолковый сор жизни. То, о чём современник Джойса Уоллес Стивенс сказал: «Бессмыслица, пронзительно родная». Неслучайно книга Аришиной начинается с похода героини на помойку и рассуждений вокруг этого ежеутреннего ритуала. Вспомним, что и знакомство с Леопольдом Блумом в «Улиссе» начинается со столь же прозаических, и даже еще более шокирующих утренних сцен.

Обращу также внимание на то, как много связано у Наташи с описанием ее городских прогулок; как поклонников Джойса тянет повторить путь Блума по Дублину, так и меня тянет пройтись по ее «маленькому Дублину» — переулкам и скверам в районе Арбатской площади, где пролегали ее обычные маршруты. Там же, рядом, Российской библиотеке, в которой она занималась литературными разысканиями; между прочим, и в «Улиссе» есть глава, где действие происходит в Национальной библиотеке Ирландии. Там Стивен Дедалус излагает свою теорию о прототипе шекспировских героинь.

Конечно, не стоит слишком увлекаться такими параллелями. В конце концов, Блум — не поэт, а книга Наташи — о жизни и судьбе поэта. Добавим: поэта, чей путь начался еще в отрочестве, но сложился непросто, так что лучшие стихи были написаны лишь в последние двадцать лет жизни; и кажется, как это ни парадоксально, что она ушла на взлете.

Она и сама это осознавала. Цитирую: «Я слишком долго от себя скрывала — себя,

слишком не придавала себе значения. Слишком низкая самооценка — это провал своего кровного дела. Почему же я так поздно спохватилась?»

Читая «Воспоминанья зарифмую», мы видим, как проза вдруг переходит в стихи, а стихи в прозу. Эта связь более тесная, чем может показаться. «Почти каждый абзац имеет себе стихотворную параллель», — прокомментировал когда-то мандельштамовскую «Прозу о Данте» его воронежский знакомец Г.М.Рудаков; и Наташа включила эти его слова в свое повествование.

В конечном счете, стихов мне не хватило. Прочитав книгу, я открыл последнее изданное Натальи Аришиной, «Общая тетрадь» (2019), и стал перечитывать его последние разделы. Перечитывать поневоле под знаком ее автобиографической прозы. Мне запомнилось, что уже в три года она знала наизусть стихотворение Некрасова «Генерал Топтыгин» (не короткое); я тоже обожал его в детстве, но наизусть не помнил.

Неудивительно, что писать стихи она начала очень рано. В пятом классе это уже стало осознанным занятием. Об этом ее стихотворение «Знак». В то время она жила попеременно то в Дербенте с дедушкой и бабушкой, то в Прибалтике с отцом, которого по службе перебрасывали с места на место.

Бранденбургский городок, мной обжитый
неумело,
от своих упрямых строк я до времени взрослела.
Я сидела босиком, завернувшись в одеяло,
и тетрадь свою тайком странной прихотью
питала.
Я была что тень тоша той порой послевоенной,
и мерцали два прыща — два светила
во Вселенной,
на девическую грудь не похожие нимало.
Малолетство той порой мне изрядно докучало.
Постоянства знак, сосна золотилась на рассвете.
Не узнала я сполна то, чего не знали дети.
Но достались навсегда и анапесты, и ямбы,
и балтийская сосна, поседевшая у дамбы.

Неожиданный эпитет в последней строке — знак такого мастерства, которому ни в какой школе не учат. Эта «балтийская сосна, поседевшая у дамбы» словно перекидывает мост через целую жизнь — от той девчонки-пятиклассницы, которая, едва проснувшись, записывает стихи в тетрадке, к многое пережившей женщине, до седых волос

сохранившей верность услышанному когда-то зову музыки.

Примечательно, что свою детскую страсть к стихам она называет «странной прихотью»: «...И тетрадь свою тайком странной прихотью питала».

Вспоминается пушкинское: «По прихоти своей скитаться здесь и там...» У Пушкина речь идет о свободе, о творческой свободе в том числе. Прихоть, мечта — то достояние, которое труднее всего отнять у человека. В нашей молодости стихи были возможностью невозбранно «скитаться здесь и там», — замысленным и удавшимся побегом. Этой свободой Наташа дорожила больше всего другого. Жизнь не баловала ее, то и дело подкладывала ей «жабью шкурку». А ведь она была красавицей — во всех смыслах этого слова. Но ее всегда поддерживали гордость и верность — верность своему призванию, своей любви, верность жизни, в конце концов. «Красотам внимаем. Остальное — претерпеваем».

Хотя она много пишет об их с Ильёй быте — пишет так, как со времен античности не помню, кто еще писал, — она меньше всего исповедальный поэт. Скорее, объективный, если можно так выразиться. Не случайно ее тяготение к жанру фрагмента, чьи художественные возможности она тонко чувствует. Фрагмент тесней связывает искусство с жизнью, которая ведь тоже насквозь фрагментарна.

Какая манна падала с небес!
С залива облака всё шли. И, снегом
облепленные, сопки вырастали
до облаков. Свой меховой рукав
тряхнула ель — и целый рой снежинок
в оконную фрамугу залетел,
рассыпался и на моих бумагах
растаял. И чернила расплылись,
и строфики набросков черновых
нарушилась. Люблю черновики,
люблю их преходящее значение.
И почерка поспешные скачки
мне через годы больше объясняет,
чем мыслей непроявленных обрывки.
И, на столе бумаги разложив,
вчитаться в эти давние размывы
не пробую. А... это белый рой
растаявший! Он превратился в тени,
и тени на бумаге разлеглись
вне замысла...

Жизнь важнее искусства, старше мастью, чем искусство. Самое волнующее в картине, когда тени легли как бы «вне замысла»;

тогда-то мы и ощущаем присутствие тайны, растворенной в мире, — той самой тайны, без которой жизнь, вероятно, не стоила бы проживания.

Вот только один пример — стихотворение «Бизнесмен», казалось бы, совершенно нехарактерное для Аришиной, сюжет, как будто залетевший к ней по ошибке. Но при всём современном антураже в нем есть что-то от чеховских пьес и одновременно от бунинских стихов: непрозрачность, мерцание смысла при безукоризненной огранке.

Скачет белка в кипарисе,
шмель летает над кустом.
Неудавшейся актрисе
бизнесмен построил дом.

В море камешки бросая,
платьем улицу метя,
ходит попросту, босая.
Отрешенно ждёт дитя.

Понаедет к ней орава,
разведёт ненужный трёп.
На соседнем взгорье, справа, —
новый храм и строгий поп.

Бизнесмен бывает редко,
не ревнует и не бьёт.
Пожурит, пошутит едко,
сигареты отберёт.

Он, когда его не ждали,
прилетит издалека
с ней играть на одеяле
в подкидного дурака.

Композиция здесь кинематографичная: каждая строфа — эпизод, из последовательности которых постепенно вырисовывается ситуация — но не сразу и не до конца. Мы остаемся заинтригованными. Женаты ли эти двое? Стока «Новый храм и строгий поп» — как будто намекает, что не венчаны и не расписаны. Что это за орава, которая наезжает к героине? Ее друзья по театру? В мозаике явно не хватает фрагментов. В конце концов, есть между ними любовь или нет? А если нет, что взамен? То, что герой не ревнует, хорошо. Что отбирает сигареты, еще лучше. А вот то, что по ночам они с героиней играют в подкидного дурака, — я даже не знаю, в какую это графу занести, хорошо это или плохо. Но как психологически убедительна эта концовка!

«Я вас понял, коварная!» — восклицает самоуверенный дурак. А поэт смотрит вокруг и видит: жизнь неправдоподобней всего, что

может о ней подумать сосед, глядя через забор. Ощущение своего младенческого невежества — драгоценное свойство художника; он смотрит на мир как бы впервые. В стихотворении «Путь карандаша» замечательно сказано о том, как «томится взгляд», не узнавая предметов, и мучит «сухой озnob карандаша» в кармане.

И в то же время это поэзия зрячая, неразрывно связанная с материальным миром. Ничего приблизительного нет в этих стихах; поэтесса может назвать по имени все, что видит. Ее любопытство — вернее сказать, ее неутомимая любознательность — такая черта, которая очевидна и в ее прозе.

Другое важнейшее свойство лирики Аришиной в том, что, не будучи ни зашифрованной, ни закрытой от читателя, она тем не менее сохраняет с ним некоторую дистанцию. Есть в этом, я бы сказал, что-то английское: при полной естественности — сдержанность, ровность тона. «Поэзия должна быть великой и ненавязчивой» (Джон Китс).

Думаю, что годы рядом с Ильёй Фаликовым (а они прожили вместе всю жизнь) помогли ее музе стать такой, какой она стала. Разговор не о влияниях — это два поэта абсолютно разные, самостоятельные; но для калибровки вкуса и профилактики поэтического жеманства такая близость, я думаю, должна быть ценна.

Книга составлена очень умно. Сначала — два небольших раздела стихов (последних и прежних, тематически собранных в цикл о поэтессах), затем три прозаические вещи, из которых первая недавно печаталась в «Дружбе народов». Вторая — повесть на японском материале, а третья — отрывки из дневников. У составителя (Ильи Фаликова) хватило такта не цензурировать эти записи даже там, где он сам изображен, скажем так, не в самые парадные моменты своей жизни.

Спасибо издательству «Время», которое выпустило книгу в рекордный срок — меньше, чем за три месяца, так что ее презентация успела к восьмидесятилетнему юбилею Натальи Аришиной.

Николай Александров

Набоков, Пушкин, Лермонтов... или Прямой наследник

Писатель-классик отличается от просто писателя тем, что ценным (драгоценным) считается каждая его строка, будь то частное письмо, черновой набросок или фраза в дневнике. Его каждое вновь найденное, пусть и незначительное слово рассматривается как крупица безусловного сокровища.

С этой точки зрения Владимир Владимирович Набоков — ярчайший пример. Собраны и учтены не только его тексты, но и шарады, кроссворды, шахматные задачи. И вышедший том набоковских поэм замечателен уже тем, что здесь впервые опубликованы ранее не известные произведения.

Владимир Набоков. Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена. — М.: Corpus, 2022.

Литературный классик прежде всего — объект академических штудий, исследований, комментирования. Издание этого тома Набокова также отличается некоторой долей филологичности: краткое введение в тему и обзор набоковских поэм в предисловии «От редактора», комментарии, подробный разбор (как в плане поэтики, так и биографического контекста) и перевод Андрея Бибикова «Жалобной песни Супермена», отсылки к монографиям и статьям других исследователей Набокова.

А priori считается, что тексты классика многозначны, поливалентны, а потому и возможности интерпретаций, толкований, наблюдений и прояснений безграничны. А главное, что объект исследования меняется, обретает новые смыслы при использовании разных инструментов. Иногда, собственно,

только эти инструменты и влияют на прочтение.

Академический дискурс выводит автора из поля критики. Критика реагирует на живое, в рамках неустоявшихся оценок, оформляющейся репутации.

Филология препарирует тело, имеет дело с тем, что обрело иной статус, ушло в другое измерение, защищено историей. Толстой, оценивая Шекспира, выступал как критик, как современник (и имел право, то есть чувствовал в себе право замахнуться на Шекспира). Но его оценка — откровение о себе. Филология избегает субъективности, насколько это возможно. Субъективность кажется неуместной — с вечностью (или с историей) не поспоришь, камень, брошенный в вечность, в лучшем (и редком) случае, лишь поднимет робкую волну, а скорее всего, не вызовет даже мелкой ряби. Поэтому филологи с некоторым пренебрежением относятся к критикам (если только сами критики уже не вошли в классический канон). Филологии кажется, что она защищена видимостью научного знания, точнее, научной методологии.

Всё это, впрочем, вовсе не исключает дилетантского (чтобы не сказать профанного), критического или свободного взгляда на текст классика.

Начать, наверное, имеет смысл с поэм, впервые опубликованных в этом томе: «Двое» (1919), «Легенда о луне» (1920), «Электричество» (1920), «На севередиком» (1920). И в комментариях, и в предисловии «От редактора» их предлагается рассматривать в контексте позднего прозаического (в большей степени, чем лирического) творчества Набокова. Действительно, и в этих, и в более поздних поэмах легко отыскать темы и мотивы его будущих романов: бабочки, теннис, футбол, шахматы, Россия счастливого детства, первая любовь и дореволюционный Петербург, ощущение своего дара и внимание к инобытию, миру иных измерений, который как будто сливаются с миром утраченного детства:

...Но если Богом мне простятся
мечты ночей, ошибки дня,
и буду я в раю небесном, —
он чем-то издавна известным
повеет, верно, на меня!

Но в целом ранние поэмы — это первые шаги, подготовительный период, определение приоритетов и тем, освоение русского канонического стиха, русской ритмики (о чем впоследствии сам Набоков будет подробно писать, ссылаясь, в частности, —

не без иронии — на штудирование стиховедческих трудов Андрея Белого).

Взгляд Набокова ретроспективен, прикован к пушкинской традиции (хотя «Электричество», например, не может не вызвать в памяти од Ломоносова и Державина) и сторонится модернистской вычурности. Он осваивает русский стих как инструмент и уверен, что с его помощью можно изображать современность. Современность не только и, может быть, не столько с точки зрения реалий, ярко выраженной актуальности. Набокова в большей степени интересует его собственный взгляд, его восприятие мира, в котором современность видится искажением, нарушением и разрушением гармонии, радости и счастья на глазах гибнущего прошлого. Поэтому то, что противостоит духу разрушения, хаосу, грубости, хамству, пошлости, имеет особую ценность. Пусть даже это лишь классический ритм, пушкинская просодия или пушкинская страсть к номинативам, к, казалось бы, простому перечислению предметов и явлений. Эта видимая, бросающаяся в глаза несовременность, даже архаичность, тоже есть способ борьбы, преодоления актуальности. Ну и кроме того, даже этот, вроде бы простой номинативный инструмент, лишенный метафоричности (а Набоков в прозе — гений метафоры), один только поиск правильного слова — требует мастерства и свидетельствует о мастерстве.

В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щёлкнул кий,
и слово правильное в лузе, —

напишет Набоков в более поздней (1931) поэме «Из калмрудовой поэмы “Ночное путешествие”». И, кстати, в поэтической науке ясности и точности Набоков развивался очень быстро. Это видно уже в «Юности» (1923) и тем более в «Университетской поэме» (1927), написанной перевернутой онегинской строфой (что, кстати, неслучайно, «Евгений Онегин» — образец номинативного повествования) и удивительной по свободе и фактурности описания быта и нравов британского университета.

Ориентация на твердые, устоявшиеся художественные каноны, разумеется, приводила к подчеркнутой литературности текстов. И здесь трудно было избежать привкуса даже не подражательности, а вторичности. Набоков стремится этого избежать хотя бы на уровне формальном, выработкой своего индивидуального почерка: неожиданными

анжабеманами, переносом рифмующейся строки в другую строфиу, интонацией, а главное—намеренной игрой с известным «литературным материалом» (что, разумеется, и в прозу его войдет). Он вообще любитель игры, загадок и шарад, причем игры не всегда очевидной.

Ну вот, например, поэма «На севере диком» (1921). Речь идет о девушке, живущей на острове. Она ждет любви и любимого. С песней об этом обращается к морю. И неожиданно на острове появляется пришелец, видимо, потерпевший кораблекрушение. Он — другой, не похож на грубых братьев и соплеменников героини, не принимает ее любви, говорит на непонятном языке. Он как будто из другого мира. И однажды он исчезает (уплывает) с острова. Собственно, всё. Поэме предпослан эпиграф из стихотворения Лермонтова. Того же самого, что дало и название поэме. Но вот что любопытно. Поэма, как справедливо отмечено в комментарии, написана «редким для поэтического репертуара» Набокова нерифмованным шестистопным дактилем. И вот эта редкость кажется мне неслучайной. Таким размером написано одно из замечательных неоконченных стихотворений Лермонтова (между прочим, едва ли не любимое лермонтовское стихотворение Василия Васильевича Розанова, подробно им разобранное) — «Это случилось в последние годы могучего Рима», непосредственно связанное с христианской темой. Не буду цитировать всё, напомню только: родители Виргинии приходят к старику-отшельнику и просят его вернуть к прежней жизни их дочь, — здесь важен финал: «Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,/ Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь/ Вечером тёмным, и ночи без сна проводила... При свете/ Поздней лампады я видела раз, как она, на коленах,/ Тихо, усердно и долго молилась... кому?.. неизвестно!../ Созвали мы стариков и родных для совета; решили...»

«Перечитывая поэму, — написано в комментарии, — мы заметим, что вней выстраивается неизменный в будущем у Набокова ряд связанных между собой тем: далекий остров (загробный мир) — смерть — непостижимая тайна. Чужеземец в поэме — носитель не только тайны своего происхождения (царского, по мысли героини), но и более значительного знания, которым он, подобно Фальтеру в *Solus Rex*, не может или не хочет поделиться с простыми смертными». Так вот, контекст этих лермонтовских стихов, кажется, расширяет поле интерпретаций.

Кстати, в поэме есть, на мой взгляд, знаковый фрагмент. В одном из эпизодов грубые братья главной героини стали насмехаться над пришельцем, его нескладностью и инаковостью. В особенности усердствовал тот, что выделялся ростом и силой. И вот что произошло:

Смех затаили, ждут... Великан к нему вдруг
подходит
и, неуклюже нагнувшись,
прямо в лицо ему дует,
мощно и шумно; а он, узкоплечий такой,
тонкорукий,
молча встаёт, побледнев,
как быстрая пена морская,
и точно взмахом крыла сшибает с ног забияку...

Значимо здесь, конечно, вот это «точно взмахом крыла», вполне возможно, указывающее и на ангельскую природу пришельца.

В итоговой сборник своих поэтических текстов Набоков включил лишь более поздние поэмы: «Из калмбрудовой поэмы “Ночное путешествие”», «Слава», «Парижская поэма», «К князю С.М.Качурину», а ранние оставил без внимания. Причина очевидна — скептическое отношение к своему раннему лирическому творчеству. Ну а кроме того, в них отражены главные для Набокова темы и мотивы: поэтическое (и писательское) кредо, Россия, навсегда для него оставшаяся в невозвратном прошлом (любопытно здесь написанное в стилистике дружеского послания «К князю С.М.Качурину»), литературная игра и укорененность в дореволюционной эпохе и эстетике девятнадцатого века, пушкинской прежде всего. И это в первую очередь «Из калмбрудовой поэмы “Ночное путешествие”». Калмбруд — анаграмма Владимира Набокова. Герой едет вместе с неким поэтом, который везет из сельского уединения рукопись нового произведения в Лондон («Там жил я, драму небольшую/ писал из рыцарских времён»), ругает критиков, а в конце представляется — Ченстон.

Первой публикации пушкинского «Скупого рыцаря» был предпослан подзаголовок «Сцена из Ченстоховой трагикомедии: The Covetous knight». Такого произведения у Уильяма Ченстохона (1714—1763) не было. Разумеется, не было и никакого Калмруда (если не считать его самим Набоковым). Мистификация Пушкина прямо рифмуется с мистификацией Набокова, тем самым последнего приближая к первому. Собственно Набоков чувствует и утверждает себя прямым наследником Пушкина.

Ольга Балла

Ещё одна попытка бессмертия

Елена КАЛАШНИКОВА. Голоса Других. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. — 280 с.

Они действительно другие, Другие (чем не только автор-интервьюер, но и все мы, живущие здесь-и-сейчас) — собеседники Елены Калашниковой, разговоры с которыми собраны в эту книгу, уже третий по счёту авторский сборник интервью. Первый, «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками», охвативший восемьдесят семь собеседников, вышел в «Новом литературном обозрении» пятнадцать лет назад и давным-давно разошёлся; второй, «?bersetzer sind die Wechselpferde der Aufkl?rung», посвящённый двадцати двум русским переводчикам немецкоязычной литературы, — девять лет назад в Берлине, сразу на немецком, и удивительно ли, что многие из нас его не видели. На сей раз собеседников всего четырнадцать, но с некоторыми из них состоялось по два, а то и по три разговора. Самое раннее из здешних интервью относится к 2000 году, самое позднее — к 2018-му. Всё, что волнует и мучает людей здесь-и-сейчас, вся злоба и жестокость нашего нынешнего дня остались за рамками этих разговоров — и слава Богу.

Конечно, все до сих пор вышедшие сборники — части единого проекта, они складываются в серию, их следовало бы и издать в качестве таковой и полезно было бы прочитать подряд, — но в принципе новейшую книгу интервью и можно, и должно читать и помимо отсылок к её предшественницам, она многое говорит сама за себя. Тем более что, по признанию автора, здесь — лишь небольшая часть проведённых ею интервью; работой в этом жанре Калашникова занималась много лет: «Мой активный интервьюерский период, — говорит она в предисловии, — с 2001-го по 2014-й», а вообще такая работа была ею начата в 1999-м и продолжалась после 2014-го. Многое из сделанного за это время не только не опубликовано, но даже ещё не расшифровано. И тем не менее в том, что уже опубликовано, оказывается возможным проследить черты некоторой цельности.

Прежде всего: перед нами — ушедшая эпоха, почти, а то и совсем, ушедшая натура, другой состав воздуха, богатыри-не-мы. (Увы, из четырнадцати героев книги на момент её выхода живы всего трое: Елена Костюкович, Виктор Голышев и почти девяностолетний патриарх Эрик Булатов.) Есть нечто радикально меняющее оптику чтения в том, что интервью, которые при работе над ними предназначались прежде всего для публикации в периодике и действительно большей частью в ней и опубликованные, оказались собраны в книгу и таким образом неминуемо образовали некоторый комплекс. К «Голосам Других» это относится ещё в большей степени, чем к предыдущему сборнику бесед с переводчиками, «По-русски с любовью» (2008): лишь теперь, изнутри иного исторического, культурного, цивилизационного состояния,

чем то, в котором велись все эти разговоры (степень этой инаковости нам ещё предстоит оценить и продумать) видно, что Елене Калашниковой с помощью чужих голосов удалось схватить черты того, что уже есть все основания рассматривать как прошлое. И это при том, что, по собственным же её словам, жанр интервью ощущается ею самой «как нечто мимолётное, подобное цветению сакуры», хотя и «записанное, да и отредактированное, часто как бабочка в гербарии» (но известно же, что именно мимолётное, в силу своей высочайшей чуткости, схватывает эпоху так, как и не снилось никакому монументальному).

Важно ещё, что в этой книге, в отличие от обеих предыдущих, разговор выходит за пределы и переводческой практики, и даже словесности как таковой. Теперь речь идёт об «активных участниках» (это опять формулировка самой Калашниковой) русской — по обе стороны границы — культуры вообще, взятой в её наиболее важных и чувствительных, по мнению интервьюера, точках, о создателях русского культурного (само)сознания и о его проблематизаторах. Поэтому под одной обложкой с «чистыми» переводчиками Соломоном Аптом и Виктором Голышевым (впрочем, последний ещё и преподаватель) оказываются, например, не только люди со множественной дисциплинарной принадлежностью, совмещавшие работу над переводами с иными, не менее значимыми для них видами деятельности: литературовед, исследователь британской и американской литературы Нина Демурова, поэт и правозащитник Наталья Горбаневская (сказавшая, впрочем, о разных своих занятиях: «Я чувствую себя очень единой»), социолог и литературовед Борис Дубин, Илья Кормильцев, много переведивший с трёх языков, но считавший себя, скорее, «переводящим писателем и поэтом» и бывший, кроме того, музыкальным и литературным критиком, главой издательства «Ультра.Культура» и основным автором текстов песен группы «Наутилус Помпилиус», писатель и университетский преподаватель Елена Костюкович, — но и Инна Лиснянская, представленная коротко: «поэтесса» (переводила ли она что-нибудь? Вполне возможно, но в предваряющей диалог с нею краткой биографической справке об этом ничего не сказано и в самом диалоге это тоже не затрагивается¹), поэт, писатель, публицист Эдуард Лимонов, поэт, автор песен, драматург, художник, режиссёр Алексей Хвostenko (кстати, он переводами как раз занимался, и всерьёз, даже ещё прежде отъезда во Францию, хотя в России не опубликовал ни строчки. «Чего я только не переводил!.. Шекспира, конечно. На свой манер и лад», и его Шекспир — «грубый, ироничный, тонкий, высокообразованный и, безусловно, гениальный». Увы, разговор об этом занимает ровно два небольших абзаца), литературовед, историк литературы, писательница, педагог, общественный деятель Мариэтта Чудакова, редактор и книговед Аркадий Мильчин и даже художники — Эрик Булатов и мультипликатор, режиссёр мультипикационного кино Леонид Шварцман. При всей общезначимости названных имён выбор, разумеется, пристрастный — и совершенно внятно мотивированный автором: «Своими работами, творчеством — ещё до личного знакомства — они повлияли на меня». В каком-то смысле перед нами, таким образом, — авторская (интервьюерская) культурная генеалогия, хотя, конечно, и общезначимая тоже, поскольку все без исключения собеседники — люди такого уровня, масштаба, энергетического, наконец, потенциала, что повлияли «на многих, многих...».

В ценностном, стилистическом (не говоря уже о том, что — в поколенческом) отношении участники этого большого заочного разговора, как читатель, конечно,

Переводила — и немало: из профессионального интереса (скажем, чилийскую поэтессу Габриэлу Мистраль — с испанского), и «по дружбе» (замечательного балкарского поэта Кайсына Кулиева), и, как и многие ее старшие современники и сверстники, для заработка (с аварского, азербайджанского, таджикского...) — что само по себе, как известно из истории советской литературы, тоже далеко не всегда было лишь «головной болью» и «обязаловкой» и печаталось в том числе и на страницах «Дружбы народов». — *Прим. ред.*

уже понял, максимально различны (кажется, только книга интервью способна усадить за один воображаемый стол, с одной стороны, Бориса Дубина, Наталью Горбаневскую, Мариэтту Чудакову, с другой — Эдуарда Лимонова. Последнего, кстати, Калашникова спрашивает: «Зачем вы даёте интервью?» — и он честно признаётся: «Не знаю»). На самом деле, такое объединение совершенно понятно: без активного участия каждого из них немыслима наша культура второй половины XX — первых десятилетий XXI века. (Кстати: биографические справки, предваряющие каждое интервью, вполне могут читаться как энциклопедия культурных практик нашего времени.) И тем более цельной, объёмной получается общая картина.

Цельности её способствует — и цельности культурной ткани с её постоянно переплетающимися нитями совершенно соответствует — также и то, что интервью расположены в простом алфавитном порядке фамилий собеседников, без того, чтобы классифицировать их по роду занятий. На цельность работает и та принципиальная установка, что разговор с каждым из них Калашникова не только никогда не ограничивает его работой, но даже, пожалуй, не делает её основным предметом внимания (скорее, так: рассматривает работу как часть и следствие личности в целом и в общем-то занимается гораздо более целым, чем частью). О работе она, конечно, расспрашивает весьма подробно, и не только с ценностной и эмоциональной её стороны: «Вы переводите с нескольких языков. Какой язык и культура вам ближе?» (и тут Борис Дубин даёт интересный ответ: «При переводе с разных языков реализуются разные возможности, включаются разные группы мышц»); «Все свои переводы вы вспоминаете с удовольствием?»; «...Отпускают ли вас готовые картины?»; «Что, по-вашему, самое трудное в переводе?»; «А многое ли не получилось из того, что хотелось?»; «А что вы бросили?» — в смысле, из начатых работ, — но и со стороны, так сказать, технической: «А как вы переводите? Делаете первый вариант текста, а потом возвращаетесь к началу и всё редактируете?»; «Закончив перевод, берёtesь ли вы сразу за другой или даёте себе отдых?»; «Вы каждый день переводите?»; «Вы каждую неделю читаете работы своих лингвистических студентов?»; «Для вас существует переводческий минимум, определённое количество страниц в день?», включая и отношения с коллегами («Прислушивались ли вы к чьему-то мнению при переводе непонятных мест, слов, спрашивали ли в таких случаях совета?»); «Из-за профессиональных обсуждений могут и личные отношения испортиться?») и редакторами («На вашем пути больше встречались хорошие редакторы? Или разные?»). Эрику Булатову, например, она задаёт несколько прямолинейный, по моему чувству, вопрос: «Вы серьёзный художник?»; а Виктору Голышеву — тоже несколько жестокий: «А ваши переводы устаревают?» (от ответа он изящно уходит: «А я их не перечитываю, пусть другие говорят». Ну да, не то чтобы все вот прямо откровенничают). Спрашивает и об устройстве профессиональной области как таковой: «Можно научиться переводу или только профессиональным навыкам?» При этом по меньшей мере столько же, сколько профессиональными заботами своих собеседников, она интересуется личностью каждого из них, его интересами, симпатиями, пристрастиями — не только в литературе («Кто ваши любимые русские писатели: классики, современные?»; «Какая литература вам интересна?»), но и в кино, в живописи, в музыке; их человеческой средой («Кто сейчас составляет ваше окружение?»). Она проясняет их психологические особенности (и не только «...переводимые тексты влияли на вашу жизнь, характер?», но и, например; «Что для вас страх?»), их бытовые практики («Когда вы успели столько книг прочитать?»), их биографические подробности — и не только; «Как вы пришли к переводу?»; «А где вы преподавали?»; «Трудно ли вам было входить в переводческое сообщество, было ли оно закрыто?», но начиная с обстоятельств рождения («А почему вы в Свердловске родились?»), с детства («А сколько вам было, когда вы научились читать?»), с условий формирования («Как вас в семье воспитывали?»; «Какие у вас впечатления от школы: любимые учителя, друзья, что нравилось,

что нет?»; «А как вы учились?», с семьи и семейных отношений («Расскажите про родителей, бабушек-дедушек...»; «Расскажите побольше про свои корни»; «А кто из родителей был вам ближе?»; «Кто по профессии ваши родители?»; «Кто у вас в семье больше читал — мама, папа?»), не говоря уж о последующем («Сколько лет вы живёте в Италии и почему именно в Милане?» — и далее следует любопытнейший рассказ Елены Костюкович о достоинствах, особенностях и странностях города Милана; «...Как влияло еврейское происхождение на вашу жизнь и судьбу?»). Расспрашивает о жизни предков и родственников собеседника до его рождения: как их звали, чем они занимались, какое влияние на них оказали современные им обстоятельства русской истории («Как на них сказалась революция?» — спрашивает интервьюер родившегося в 1921-м Соломона Апта о его родственниках). В отношении таких траекторий внимания проект Калашниковой очень близок тому, что — так же много лет подряд, систематически — делала и делает Линор Горалик в своём проекте интервью с поэтами «Частные лица», в котором ей важно одновременно понять и поэта, и человека, и второго, пожалуй, даже важнее. Калашниковой, кажется, тоже. (Кстати, у них есть и общие герои — вот, например, Наталья Горбаневская, которая в разговоре с Калашниковой вспоминает своё интервью Горалик.)

Её исследовательское предприятие (а это, вне всяких сомнений, исследование) в целом более близко, скорее, к работе социолога, чем литературоведа. Она непременно интересуется взглядами своих респондентов не только на словесность («Все книги устаревают или к гениальным это не относится?»; «Если бы вы составляли на свой вкус библиотеку мировой литературы, то какие авторы и книги были бы там?», «Как вы оцениваете состояние нынешней переводной литературы?»), но и на человеческие отношения («Что для вас заключается в понятии семьи?»), на человека в истории вообще («Человек меняется во время войны?») и непременно — личным их историческим и культурным опытом («Что ещё, связанное с большой историей, хранится в вашей памяти?»; «По вашим ощущениям, сильно ли атмосфера 1930-х отличалась 1940-х?»; «Когда вы впервые оказались на Западе, какое у вас сложилось впечатление от нового для вас мира?»; «Какое у вас ощущение от современной жизни?»).

В целом благодаря подробности и разнопредметности вопросов всё многообразие сказанного складывается, во-первых, в довольно широкую панораму эпохи (и даже нескольких), во-вторых, в её антропологию — в галерею её человеческих и интеллектуальных типов. В каком-то смысле это и большой дневник времени: под каждым интервью указан день, месяц и год, когда оно состоялось.

Не хочется, однако, воспринимать книгу как памятник ушедшему культурному историческому состоянию (хотя бы уже потому, что памятники статичны и по большей части пафосны, а «Голоса Других» — живые, дышащие и, да, — действительно сиюминутные). Скорее, как проживание этого состояния заново — и таким образом, как ещё одну попытку бессмертия.

Правила игры

Борис Минаев

Лучше вы к нам

Помню, приехал в Арзамас, там оказались милые люди, друзья наших друзей, встретились, и вдруг они говорят: «Ох, как жаль, что вы только сегодня приехали, а не раньше! У нас накануне была премьера в театре, очень хорошая! Вообще у нас театр прекрасный, билеты раскупают заранее на некоторые спектакли — на месяц вперед, на три месяца!»

Я тогда пожалел, что не попаду в Арзамасский театр (может быть, уже никогда). Ну, если уж такая народная любовь...

Вообще театр в небольшом городе — особь статья. Интеллигенции не так уж много, все наперечет, и любая «точка сборки» важна. Но не только в этом дело: живой, настоящий, по крайней мере, искренний театр в своем городе любят еще и потому, что он добавляет капельку, так сказать, социального оптимизма. Капельку надежды на лучшее (цивилизованное) будущее. Капельку добра.

И где бы я ни увидел афишу городского театра, всегда подхожу и смотрю — что дают. Ногинск (бывший Богородицк) и Вышний Волочек, Арзамас и Кузнецк. Всматриваюсь в лица актеров. Представляю, как мечтают они долгими зимними вечерами о большой сцене, о всероссийской славе.

А потом вздыхают и идут работать дальше — для своего, избранного, давно и хорошо знакомого зрителя.

Театр здесь может быть и «народным», то есть играют в нем, по старой дореволюционной традиции, местные жители, он может быть полупрофессиональным, но в любом случае без поддержки города не может быть ничего: ни помещения, ни статуса, ни афиши. Театр — неотъемлемая часть города. Во всех смыслах, в административном тоже. Всегда хотелось узнать подробности (по старой журналистской привычке): а кем работает актер народного театра «во внебиробочее время», а откуда присылают выпускников региональных театральных училищ, а как уговаривают режиссера, а какая ставка, а дают ли общежитие или что-то в этом роде?

С некоторых пор существует театральный фестиваль малых городов — и за годы его существования выяснилось, что театр, причем очень хороший театр, есть в городах, куда вы вряд ли сами доедете: Лысьва, Минусинск, Прокопьевск, Балаково, Нянгань, Губаха, Кудымкар...

И жюри строгое, сейчас, например, в него входят театральный режиссер Николай Коляда, актриса Ольга Остроумова, кинорежиссер Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович. Раз в год финалисты собираются в каком-то симпатичном городе, например, в Тобольске (честно говоря, я бы как-нибудь тоже съездил). Но вот случилось чудо — и два театра-победителя, из Альметьевска и Мирного, дают гастроли в Москве, на сцене Театра Наций, который поддерживает фестиваль. Раньше такая прерогатива была только у «Золотой маски»: «показать глубинку», — теперь у нас есть и Фестиваль театров малых городов.

Перевод с афганского

«Бегущий за ветром» — дебютный роман американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни был издан в 2003 году и за эти годы успел стать мировым бестселлером. Действие разворачивается и в Кабуле, и в Сан-Франциско, начинается роман в 1970-е годы. Советская интервенция в Афганистан через 14 лет сменяется американской, одна гражданская война переходит в другую, цветущий мирный город постепенно становится средоточием смерти, боли, потерь и разрухи.

Роман, как я уже сказал, вполне знаменит, по нему снят голливудский фильм, Хоссейни получил награды и мощную критику, сценическая версия романа также разошлась по театрам всего мира. И дело тут не только в качестве прозы, оно несомненно, — роман совпал с интересом к так называемой постколониальной травме, концепту, который теперь изучают во всех университетах, на всех гуманитарных кафедрах мира. Особенно обострился интерес к нему после движения протеста черного меньшинства против обесценивания жизни людей небелого цвета кожи, захлестнувшего не так давно Штаты.

Роман про Афганистан — это, конечно, не только «роман про Афганистан», Халед Хоссейни написал про другое: как традиционные отношения в традиционном обществе (отец-сын, хозяин-слуга, насилие-покорность) трансформируются, разламываются движением большой истории. Как меняется сам человек в этих неизбежных, страшных и кровавых поворотах цивилизационного пути. Как чувство вины коверкает жизнь и как врожденная агрессия и адское насилие залегают в глубоких пластах человеческой души. Как важен для человека его детский опыт, в том числе и травматический.

И вот горячий афганский ветер долетел и до Альметьевска. Именно по этой вещи режиссер Камиль Тукаев поставил в Альметьевском государственном татарском драматическом театре спектакль «Жил Артыннан / Бегущий за ветром», ставший победителем Фестиваля театров малых городов в номинации «Спектакль большой формы».

Честно говоря, я не припомню за последнее время московский театр, который вытащил бы на сцену такой огромный, сложный и такой современный литературный материал. Московского театра, который поставил бы перед собой такие неподъемные задачи — по содержанию, по мысли. И решил их при этом прозрачно, трогательно и органично. Уже само это вызывает огромное уважение.

Герой спектакля и романа, мальчик Амир, живет как бы в патриархальном раю — в большом богатом доме, среди цветущего сада, в мирном и спокойном городе Кабуле, где главным развлечением являются гонки воздушных змеев, в которых он принимает участие. Амир читает современные романы и народный эпос, он пишет рассказы и мечтает о том, чтобы стать писателем. Но ощущение внутреннего разлада рождается у зрителя как-то сразу — потому что нет покоя этой душе. Из-за сиротства: матери нет, она умерла при родах, а отец с ним суров и требователен. Из-за странных противоречивых отношений с мальчиком Асефом, который живет в доме на положении сына слуги — то есть он и сам, по сути, слуга, да еще и презираемой в обществе национальности, «плосконосый хазареец». Мальчики дружат, но один слишком покорен и зависим, другой — слишком ревнив и замкнут на себе.

Амир, мечтательный и слабый, не может «дать отпор» обидчикам в рамках патриархальной мужской этики, чем страшно раздражает отца.

Весь этот разлом «старого» мира — глубоко религиозного, феодального и классового, маскулинного и тяжелого, с одной стороны, и абсолютно семейного, почти растительного в своем спокойствии, «слишком простого» в противовес тому сложному, что исподволь растет в душе современного человека, — показан прекрасно. Разлом неизбежный, но при этом ведущий к исторической катастрофе — и он не имеет сугубо национальной афганской окраски.

Он всеобщий.

Вот так же разломался и «слишком простой» советский мир, он тоже оказался «старым», что тоже в итоге привело к катастрофе.

Однако философская подоплека спектакля — тот пласт, который прекрасно считывается внимательным зрителем, но не кричит, не превращается в плакат, проповедь или лекцию. Трогательная, острая, мелодраматическая история нежного мальчика, история дружбы и предательства, любви и ненависти — рассказана очень спокойно, в естественном ритме.

Я бы обязательно отметил здесь сценографию Камиля Тукаева, да и всей его команды (например, работу художника по костюмам Фагили Сельской). Отметил бы и то, что в афише названо «пластическим оформлением» и «цветной графикой» (соответственно, Виктория Арчая и Ольга Кулагина). Потускневшие цветные фотографии на белой материи, как прступающие из памяти героя смутные картинки, предметы, каждый из которых многозначен и символичен, от воздушного змея до футбольного мяча, — всё это создает ощущение подлинного пространства, подлинной истории. И главное — я бы отметил звуковой ряд.

Татарский язык на сцене, в песнях, афганская музыка, афганские танцы и костюмы — все переплетено здесь причудливо, и кажется, что ничего аутентичнее для постановки этого романа на российской сцене придумать просто нельзя.

Мы как будто погружаемся в иную культуру, легко проникаем в нее благодаря именно звуку, хореографии и пластике и смотрим на то, как из этого иного, незнакомого, вроде бы чужого — рождается что-то очень близкое и глубокоозвучное нам.

Мы видим, как современный человек, выходя из прежнего патриархального и маскулинного мира, — ломается и страдает, но все же идет вперед, поскольку другого выхода просто не видит. И в то же время мы видим, как этот «новый мир», мир постmodерна, с бессознательной жестокостью крушит старый, не видя и не понимая последствий.

Прекрасная игра актеров, исполнителей главных ролей — Динара Хуснутдинова, Раушана Мухаметзянова, Эдуарда Латыпова — абсолютно соответствует ритму прозы, ритму рассказа — неторопливому и внимательному.

Да, можно во второй части спектакля упрекнуть авторов в том, что они «пересказывают роман», слишком настойчиво «тянут сюжет», но скучно не было — «большая проза» на сцене не бывает легкой.

Да и не должна.

Озорник из Якутии

Театр из якутского города Мирный привез на гастроли в Театр наций спектакль «Озор» (также победитель фестиваля — в номинации «Спектакль малой формы») по рассказу Мамина-Сибиряка «Озорник».

Рассказ сам по себе удивительный: о судьбе сибирских переселенцев, то есть о драме тех, кто идет вглубь Сибири, на Восток, за землей, за волей, за новой лучшей жизнью. О них и написано-то в русской литературе до обидного мало, и уж тем более обидно, что мы, современные люди, почти ничего не знаем об их судьбе.

Спектакль разделен на две части. В первой половине рассказа переселенцы показаны как бы глазами современного человека (тут надо обязательно назвать режиссера спектакля Елизавету Бондарь и драматурга Александру Августеняк). А во второй показаны уже *сами* эти современные люди. Дело в том, что спектакль, как гласит пресс-релиз, «родился в результате работы лаборатории с жителями города Мирный, которые вместе с режиссером и актерами обсуждали рассказ Д.Н.Мамина-Сибиряка «Озорник». Частью спектакля стал телеграм-чат, в котором каждый может оставить свои замечания и отзывы. Таким образом, зрители становятся

непосредственной частью постановки, а их комментарии или вопросы могут войти в текстовую конструкцию спектакля».

Композитор Николай Попов написал к «Озору» очень яркую музыку — в ней звуки балалайки переплетены с якутским народным инструментом хомус (та самая губная мембрана), вскрики и птичий голос — с электроникой; и отсылает нас эта музыка, я бы сказал, к таким глубинам психики, в которые заглядывать страшно. Особая музыкальная ткань переплется с речевой — актеры говорят, а порой и поют, в разных тональностях, модуляциях, да и сами двигаются «не совсем как люди», и тут вспоминаешь уже не о русском реалистическом театре, а о японском — «Но» или «Кабуки», где актеры и говорят, и движутся особенным образом, как марионетки или куклы. Спектакль имеет подзаголовок «социальная мистерия», и впрямь здесь много от шаманского камлания, от речевой медитации, от тайнотписи народных обрядов.

Довольно точный, хотя и парадоксальный замысел — ведь современный человек видит в этих темных, патриархальных людях не самого себя, а, скорее, условных персонажей народного сказа.

Физиологически спектакль тяжелый, хотя идет всего час десять, и несмотря на выдающиеся эстетические качества, душевного восторга от него нет, несмотря на то, что искусность режиссерского замысла порой вызывает восхищение. Но есть в итоге, скорее, подавленность, тяжесть, грусть. Казалось бы — фоном и рассказа, и спектакля является огромный сибирский простор, дикая природа, человеческие страсти, даже «героизм первоходцев», как написали бы в советское время, но, в первую очередь, «Озор» о том, как молодая женщина становится жертвой своей семьи, жертвой темных, средневековых традиций, застывшей, свинцовой морали подчинения и рабства по «половому признаку».

В этих людях нет свободы, вот что ужасно, и они ее не ищут. Конечно, и американский Запад когда-то завоевывали люди с очень патриархальной, традиционной, невыносимо жесткой моралью — но в произведениях «литературы и искусства» они остались все же искателями и поборниками свободы. Свободы от угнетения и нищеты.

Как это получилось — я не знаю, и ответа на этот вопрос у меня нет. Чем наши староверы отличались в этом смысле (тяги к свободе) от американских квакеров или баптистов, я не могу ответить. Возможно, европейская культура была важным добавлением в этом густом человеческом растворе, замешанном на предрассудках и религиозных догматах, и это ключевая разница. А возможно, «поборниками свободы» этих людей сделали позднейшие образы, воплощенные Гэри Купером, Джоном Уэйном, Грегори Пеком и всеми остальными.

Ну и главный момент — американские переселенцы шли на Запад исключительно добровольно, боясь все риски на себя. У нас, начиная уже с XX века, а то и раньше, этими человеческими потоками управляло государство, используя при том довольно жесткие, а то и бесчеловечные методы.

...Но то книжная история, а когда видишь на сцене живых страдающих людей (прекрасные актерские работы Михаила Гончарова, Сергея Сидорова, Владимира Заманкова, Марии Заманковой, Ольги Федосеевой и других), то сами собой связываются все узелки. И куда бы русский человек ни шел, как бы далеко ни лежал его путь, «внутренняя тюрьма» всегда и всюду с ним.

Грустный вывод, и все же «Озор» оставляет мощное впечатление — любовь, ревность, сила женщины, деспотизм матери и слабость мужчины показаны в нем с необыкновенной яркостью, может быть, как раз потому, что театральные краски выбраны именно так — по контрасту с «большим стилем».

Ну и неожиданная концовка спектакля — речевые, психологические реакции современных людей, которых заставили прочесть рассказ. Актеры встают в ряд и тихо качаются, выкрикивая реплики живых людей, сегодняшних, — и оказывается, что «спутанная», темная мораль переселенцев прошлого века — представления о роли женщины, о роли мужчины, — поддерживаемая сегодняшними масс-медиа, она, хоть и обветшала, но никуда не делась. И это тоже важное открытие.

Жду следующего фестиваля.

Summary

Dmitrij SHEVAROV. A Girl from the Last Echelon

"The life that my mother had lived before me is now my life too, - admits the author at the very beginning of his documentary. — There was a shortage of paper during the war and all mom's drawings were made on the backs of the various papers belonged to her parents: fragments of sketches, pre-printed forms of the military telegraph station of the Siberian Military District... A boy would have pictured tanks and planes, explosions and fires, but in the realm of a little girl the eternal peace was reigning. Once I showed these pictures to my granddaughter. Fascinated with their conviviality five-year-old Liza asked me: "And what is it pictured here — the Victory Day?"

Poetry

The tender month of May means not only the spring and lilacs but also the Victory Day. That's what the poems of Yan BRUSHTAIN "Leningrad's windows" are about. The cycle of the piercing poems by Ilya FALIKOV "The Farewell" is dedicated to his recently gone wife - the poet Natalya Arishina, our regular author and longtime friend of our magazine. The full of dramatism lyrics by Sergei POPOV are about the "irretrievable list of the losses". About believing that "everybody will revive" meditates Igor KASKO.

Elena GRAG. Kiddies

This long short story is *an antistory not about anorexia*, - explains the author, looking at the yellowed pages of the deep-blue notebook from her last childhood winter. Fragments of memory, occasional phrases, blurred faces... To fish out of the Time and try to fit them all into the neat pages on the computer screen.

Alisher NAVOI. Breaths of Love from the Flower Beds of Nobility

This treatise of the great Turk poet covering seven ages of the history of Islam includes all in all hagiographies of the 770 Sufis. Some fragments of this tremendous work are presented here under the heading "The Cultural Layer".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.ком>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского
переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Министерство Российской Федерации
по делам Севера, Арктики и Антарктиды



Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики



Информационно-образовательный
центр по стандартам качества



Федеральное государственное
учреждение высшего
образования

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева

3 приза
по 500 000 р.
в трёх
номинациях

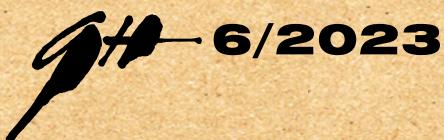
- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2023 года

18+



премияарсеньева.рф



Читайте:

**Родион Белецкий. «Чужой ребёнок»
Роман**

«Всё изменилось, когда я вернулась домой, не дойдя до метро. Забыла телефон. Вошла, вся в своих мыслях. В основном, о том, насколько я ничтожная личность. Осторожно прикрыла дверь, чтобы отец не разорался, и, забрав ключи с подставки для обуви, заглянула в комнату. Просто проверить больного. Заглянула и окаменела.

Папа, который третий год не вставал с кровати, инвалид моего сердца, стоял на своих двоих перед включённым телевизором и, переминаясь с ноги на ногу, ел зефир.

Сначала я не могла поверить своим глазам. Чудеса встречаются только в кино, но чтобы у меня в гостиной!

— Папа... — сказала я тихо.

Он обернулся, испугался и тут же закачался, словно собирался упасть. Но не упал.

— Ты что, ты... стоишь?! — спросила я.

— Это... я случайно, — сказал папа. — Сейчас...

— Ты, — говорю, — не просто стоишь, ты ещё и ходишь!

— Разве? Я случайно!

И тут меня прорвало: — Ты притворялся?!..»

